

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Лето. Максим Горький

... Гляжу в окно – под горою буйно качается нарядный лес, косматый ветер мнёт и треплет яркие вершины пламенно раскрашенного клёна и осин, сорваны жёлтые, серые, красные листья, кружатся, падают в синюю воду реки, пишут на ней пёструю сказку о прожитом лете, – вот такими же цветными словами, так же просто и славно я хотел бы рассказать то, что пережил этим летом.

В тихий и лесной Тумановский уезд, в деревню Высокие Гнезда я был направлен одним знакомым. Явился туда под видом дачника, имея паспорт на имя Егора Петровича Трофимова, третьей гильдии купца. Прошлое моё было таково: жил в Москве, имел бакалейную лавочку; когда – после переворота начались эти экспроприации, я со страха в уме помешался, год с лишком в больнице лежал, а теперь ищу для отдыха уединённой жизни. Вдов, одинок на земле и душевно расстроен. Эта история сразу хорошо поставила меня среди мужиков, – человек разорённый, да ещё и полоумный – что тут интересного для них?

Снял я келью у старой девы, бобылки, за девять рублей до покрова. Несколько дён кряду походил по деревне, чтобы все видели, познакомился с урядником, напоил его чаем, попросил о защите, о внимании. Всё идёт хорошо, он меня покровительственно одобряет.

– Ничего, Егор Петрович, живите, а мы тихим людям рады! – говорит он, поглаживая рябые щёки неверными, дрожащими руками. И речь у него – тоже неверная, вся пересечена оговорками и поправками.

– Места у нас для таких людей очень приспособленные – никаких заводов, фабрик в округе нет, то есть тут, верстах в двенадцати, некоторые химики дёготь гонят и ещё что-то, человек с тридцать рабочих, но – они всё больше здешние, пришлых немного, и волнений каких-нибудь теперь нет.

Маленький он, сухой, личико костлявое, щёки глубоко вспаханы оспой, а лоб почти не тронут ею, и на нём чутко, как мышинные уши, вздрагивают брови, похожие на вопросительные знаки. Глаза маленькие, мутные и беспокойные.

– Народ здесь больше раскольники, хотя, конечно, молодёжь, она уж ни богу, ни чёрту, а всё для самой себя, – рассказывает он. – Положим, я здесь недавно, с осени, а раньше в Займище служил, знаете – затон там, стоянка пароходов? – очень трудно! Особенно – зимой. Приходилось стрелять в людей, в меня тоже палили, лошадь пострадала, ногу вывихнул, а у меня – жена, троё ребят, – попросился, чтобы перевели. Конечно, и здесь – не на печке, бывают разные волнения, а всё-таки спокойнее – мужик ещё не отчаялся и жизнь свою ценит, а уж этот рабочий народ – вы, городской житель, сами знаете, каков он... Хотя они, фабричные, проникают во все щели, как бы ветер, примерно, однако – мы их замечаем...

Похож он на комара, начальник сей, а в голове у него, видимо, заплуталась какая-то непонятная ему мыслишка и шумит там, тихонько беспокоя господина Клеонова.

Много теперь надорванных людей, живущих прошлыми страхами, в ожидании будущего ужаса.

Деревенька маленькая, уютная, и хоть бедная, но урядливая. Стоит в широком кольце лесов, на холме, обегает этот холм полукругом бойкая и светлая речка Вага. Везде, куда ни глянешь, увалы и холмы, на них, словно ковры, пашни лежат; всюду, замыкая дали, стоят леса, и только в северном углу распахнулись они, выпуская на поляну сплавную реку Косулю, но она, приняв Вагу в берега свои, круто изогнулась и уходит снова в темноту лесов.

Уже на второй день своей жизни в Гнездах, гуляя по деревне, я заметил человека, который был мне указан, да и он чутьём понял, кто я.

Новый мой знакомец – сын старосты, Егор Досекин, человек крепкий и круглый, словно булыжник, с большой головой, серое скуластое лицо его точно из камня вырезано, и весь он похож на черемиса. На подбородке и скулах растёт тонкий и

кудрявый желтоватый волос, узкие глаза косоваты и прищурены, смотрят недоверчиво и строго.

Он первый подошёл ко мне за деревней у мельниц, ткнул рукой в свою шапку, заложил пальцы за пояс и спрашивает:

- Любуетесь?
- Да. А вы здешний?
- Егор Досекин, ежели интересно.
- Очень, - мол, - рад. Записочка у меня к вам.
- Так.

Оглянулся, взял записку, прочитал, аккуратно и мелко разорвал её и, скатывая обрывки маленькими шариками, говорит:

- Всё в порядке. Недели две ждём вас. Вечерком я приду - хорошо будет?

Вот и познакомились.

Вечером он сидел в келье моей, пил чай и рассказывал, в упор глядя на меня карими и словно кремнёвыми глазами:

- Всего нас четверо: я, Авдей Никин, Ваня Малышев, а четвёртый недавно явился - вашей хозяйки двоюродный племян, Шипигусев Алексей, пролетарий, он в городе на фабрике чернорабочим был, надорвался и живёт здесь впроголодь потому на работу не способен, да и нет её.

Голос у него сочный, в книжных словах слышен насмешливый звон, будто человек сам над собой подтрунивает.

- Что мы делаем, спрашиваете? А вот соберёмся и говорим друг другу: хорошо бы, если бы кабы, вот бы... и другие умные и новые слова. Книг у нас почти нет, а которые брошюрочки имеем - их на зубок вытвердили. Самый бойкий у нас Алексей - он тут подростками занят, беседы с ними ведёт, читает им, а мы и до этого не дошли.

Он мне сразу понравился: говорит веско, слушает чутко, понимает быстро, никогда не торопится, а, должно быть, всё делает скоро. Книг читал маловато, но из тех, которые прочёл, выгрыз всё ценное, как мышонок мякиш из краяхи хлеба.

Понижая голос, он говорит быстрее и всё пристальнее смотрит на меня цепкими глазами.

- Теперь вот первое дело закон о выделе надо знать - могучий закон придуман, об него деревня вдребезги разбиться должна - с этого бы нам и начать. Как полагаете?

- С него и начнём, - отвечаю.

- Во-от! Вы его нам объясните во всей тонкости, а мы уж дальше расскажем. Вы сами-то как насчёт этого закона?

Ну, думаю, огорчу я тебя сейчас и, зайдя издалека, доказываю необходимость для человека порвать все цепи свои.

- Обняла, - говорю, - земля человека чёрными лапами своими и выжимает из него живую свободную душу, и вот видим мы пред собою жадного раба...

У него вспухли жилы на висках, покраснели скулы, пальцы дробно стучат по столу, и большая лохматая голова согласно кивает мне.

- Верно! - восклицает он, вскочил, опёрся руками о стол, наклонился ко мне. - Я иначе думать учился и в книжках иное читал, но верно ваше слово, товарищ! Мне двадцать шесть годов, и лет пять я в душе моей всякий древний бурьян без успеха

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

полол. А после переворота – третий год уже пошёл – вижу, надобно мне всё с начала передумать. Невозможно новую жизнь строить из гнилых обломков, на старой этой нашей земле. Сказать вам думы мои не умею складно – скажу просто: человек должен быть освобождён из плена земли своей. Силу плена этого видел я. Вот, погодите, расскажу о временах перед первой Думой – ну и поганые же дни были! До того исказились люди от жадности, так опьянели все – никто ничего не видит, ничего не хочет понять, одно кричат: земля, земли! Бит был я за мои речи в те дни, хотя и сам не понимаю теперь, что говорил, о чём? Видел одно – не туда народ повернул силу свою... были же силы, были! Но увязли ноги по колена в земле, и – всё встало, рассеялось, всосалось обратно в неё.

Он топнул ногой об пол и ткнул пальцем вниз, отирая покрытое потом, возбуждённое лицо.

– Прямо сказать – не на земле люди живут, а в самой земле, вплоть по маковку. Алексей верные слова говорит: сожрал мужичок Великую Революцию во Франции! Я про это ничего не знаю, не читывал, ну а верю, я могу это понять – он сожрёт!

Смотрю я на него и радостно думаю: "А ты, милый, видать, птица редкая и новая – пусть скажется в добрый час!" Нравится мне его возбуждение, это не тот красивый хмель, который охватит городского интеллигента на краткий час, а потом ведёт за собою окисляющее душу стыдное похмелье, это настоящий огонь жизни, он должен спокойно и неугасимо жечь душу человека до дня, пока она вся не выгорит.

До полуночи просидели мы с ним, и неохотно проводил я его за ворота, да и он ушёл тоже нехотя. Стоя у ворот, смотрю я, как твёрдо и споро шагает он вниз посреди улицы между тёмных изб, сонно и молча прижавшихся к земле. Уже отогретая солнцем весны, спит она и сладко дышит во сне запахами свежих трав. Хорошо было у меня на душе в тот час – люблю я чувствовать себя на месте и у дела.

Густо оросилось тёмное небо звёздами – иную едва видно, а без неё небеса беднее будут.

Товарищи Егора тоже оказались интересными людьми: Авдей Никин похож на ямщика со старой картины – кудрявый, большебровый, голубоглазый молодец высокого роста и силач, но лицо у него хмурое, над переносицей глубокая не по летам складка; молчалив он, а если говорит, то – кратко и всегда как-то в сторону. Ему двадцать три года, один сын у матери, земли имеет двадцать две сажени, лошади нет, поэтому землю он сдаёт, а сам ходит батрачить у богатых мужиков и по экономиям. А мать у него пьяница, и если сын не даст ей на водку, она выкрадет у него заработок ночью и пропьёт, а когда нет у него работы, она в кусочки ходит, – от этого, должно быть, и хмур парень. До книг он жаден, однако о прочитанном не любит беседовать; отдавая мне книгу, тихо и задушевно молвит: "Хорошо!" – или: "Очень хорошо!"

И в такую минуту глаза у него светятся ласковой, умной улыбкой.

Не один раз пробовал я расспросить его – что же именно хорошо? Но вижу – смущается он, отвечает нехотя, и я оставил расспросы до времени.

На общих чтениях, немедля устроенных нами, он ставит вопросы редко и почти всегда в таком роде:

– Вот указывается, что христианство объединило и бедных и богатых, а социализм – может?

– Значит – всегда это учение снизу, от народа шло? Отчего же рабочий, говорите, скорее нас принимает этот путь?

Ответы мои, видимо, удовлетворяют его; заметно у Авдея спешное стремление всё округлить, завершить и прочно поставить в душе. Мне это не очень нравится в нём. Вот тёзка мой, Досекин, он любит развёртывать каждый вопрос, словно кочан капусты, всегда добиваясь до стержня. А Ваня Малышев паренёк из старой раскольничьей семьи, дядя у него известный в крае начётчик, грамоте Иван учился по-церковному, прочитал бесконечно много книг славянской печати, а теперь сидит над библией, ставя её выше гражданских книг.

– Оттого и прославили её книгой для ума трудной и опасной, что это книга

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

народная, – тихо и упрямо доказывает он. – Вот видите, опять являются пророки правды народной, и хотя иначе, острее отточена она теперь, а всё та же древняя правда, самим народом одуманная.

Наружность у него невидная, пятаковая, трудно его отличить в горсти деревенских парней – всё как у всех! И только присмотрясь внимательно, замечаешь в серых глазах мягкое, спокойное упрямство, чувствуешь в его теле тугую пружину гибкой, но не ломкой воли.

Таких тихого характера людей наблюдал я, будучи солдатом; являются они перед начальством и говорят, покорные своей вере:

– Военное дело считаю грехом – ружья в руки не возьму!

Бьют их нещадно, страшат всеми страхами, держат в строжайших карцерах по месяцу и более, сажают в сумасшедшие дома, в тюрьмы и, не сломив, засылают людей куда-то на край земли, если не убьют.

Алеша Шипигусев – человек нервный, тоскующий, резкий сердцем и словом, угловатый, но крепкий, словно хрящ. Ума бойкого, но хочет объять всё сразу, спешит, хватается широко и рвётся, как старый бредень; видит юное бессилие своё, колотит себя кулаком по лбу, ругает, впадая в тоску, а потом дня на три уткнётся в книжку и снова бодр, горд, криклив – всё понял, всё узнал. Тут его надо вспрыснуть холодными словами, он рассердится, поспорит, потом посмеётся над собой и снова сядет за книжку. Знает для своих двадцати лет многого, но в голове у него – как в новой квартире: привезено почти всё уже, а всё не на своём месте, ходит человек между вещей и стучается об них то лбом, то коленкой.

Спелись мы все быстро и дружно, только Авдей смущал меня: торопливое его желание поскорее свести концы с концами в душе своей не сливалось со сдержанным характером и недоверчивым блеском голубых глаз.

Вскоре после приезда моего в деревню у Никина разыгрался настоящий роман: оказалось, что на святках он сошёлся с младшей дочерью богача Астахова, Настей, и теперь она была непраздной от него, а отец начал истязать её, допытываясь, кто соблазнил. О ту пору Авдея не было в деревне, но узнав, что дело открылось, бросил он работу, явился к старику Астахову.

– Это я Настин муж.

Богатей обезумел, кричит:

– Нищий! Еретик!

Бросился на него с топором, но Авдей во время схватил тестя, говорит:

– Выдай Настю за меня. Что тебе делать, кроме этого?

Тут Астахов согласился, понимая, что если отказать парню, так он сейчас изломает ветхие стариковские кости, а сам в ту же ночь отправил Настасью куда-то в скиты и принялся травить Никина: то и дело таскают парня к земскому, к становому, в волость, и никто в округе не берёт его на работу.

Тогда Авдей, спокойствия обычного не теряя, пожелтел весь, глаза прищурил и сквозь зубы рычит:

– Сожгу! Убью!

Уговариваем:

– Что ты! Каторги захотел?

– Нельзя им уступать, ни в чём нельзя! – кричит парень и мечется, как волк в западне. – За пуговицу буду драться до смерти! И не быть тому, чтобы он командовал Настей, – она мне по чести жена, я её найду, выкраду, сам от него спрячу...

Дело совсем неисполнимое. Найти девицу и украсть – не велик труд, так! Но куда

же он её спрячет по этим местам, где даже число горшков в каждой избе известно на пятьдесят вёрст кругом? Жизнь прозрачная, – кроме тараканов – всё на счету.

Досекина в те дни не было с нами, его земский на неделю под арест посадил. Алексей и Ваня решили помогать Никину, пришлось тогда вступить в дело мне; достал я девице паспорт, указал в губернии людей, которые не откажут приютить её до родов. Никин её выкрал, а Алёша отвёз в город; там её после родов пристроили кормилицей к хорошим людям.

Авдей тоскует, жалуется:

– Не могу бросить несчастную мать мою, – говорит он, скорбно понуря голову, – а то бы и я ушёл в город.

– Тяжело вам с матерью? – спрашиваю. Он сидел у меня в тот час, пришёл благодарить за помощь, чудак.

У него брови прыгают, губы дрожат.

– Легко ли! – говорит он, словно задыхаясь. – Горько и стыдно – чем поможешь? Болен человек, лишён ума. Судите сами, каково это видеть, когда родимая твоя под окном милостыню клянит, а то, пьяная, в грязи лежит середь улицы, как свинья. Иной раз думаешь – умерла бы скорей, замёрзла бы или разбилась насмерть, чем так-то, на позор людям жить! Бывает тоже, что совсем лишаюсь терпенья, тогда уж бегу прочь от неё – боязно, что пришибу или задушу всердцах.

Сидит, согнулся, охватил голову ладонями, и кажется, что курчавые волосы его дыбом встали. И вдруг, помолчав минуту, он исподлобья смотрит на меня, ласково усмехаясь.

– А вспомню, – новым голосом тихо и благодарно говорит он, – каково ей было со мной – и уж не знаю, что сделать для неё, сам за водкой бегу – на, пей, отдыхай! Отец у меня зверь был, старшего брата в могилу побоями свёл, сестра сбежала в город и пропала там без вести, может, в гулящие пошла... Она, мать-то, всегда вступалась за меня, оттого, может, и жив я остался... зато отец бил её так, что даже вспомнить жутко! И, бывало, приползёт она ко мне, избитая, в крови вся, а сама спрашивает, едва шевеля языком: "Что, Авдеюшка, больно он тебя?" Можно ли это забыть!

Голос его звучит глухо, как у больного, и слышу, что в горле у парня слёзы кипят.

Странно и неловко видеть богатыря такого плачущим, однако – я эти слёзы понимаю: и у меня отец не ласков был, и мою мать колотил он не жалеючи, а ей, милой старушке, я обязан тем, что захотел правду искать и нашёл.

– Больно ей, стонет она, – тихо рассказывает Авдей, – а сама меня учит: "Ты-де не сердись на него, он сам-то добрый, да люди злы, жизнь-то тяжела ему, очень уж жизнь наша окаянная!" И плачем, бывало, оба. Знаете, она мне и по сю пору сказки рассказывает, коли ещё в памяти и на ногах держится. Подойдёт ко мне, сядет и бормочет про Иванушку-дурачка, про то, как Иисус Христос с Николаем и Юрием по земле ходили...

Он тихо и конфузливо засмеялся.

– Смешно мне, конечно, а слушаю, ничего!

Никогда потом не видал я его таким хорошим, как в этот удачный час.

Астахов, конечно, разъярился, забегал по начальству, начал искать чадо своё, но, пошумев недели с две, предал дочь анафеме и бросил поиски. Да и Авдея перестал донимать, потому что однажды на сходе мирском тот сказал ему:

– Эй, Кузьма, ты меня больше не трогай, слышал?

Старик закричал, миру:

– Смотрите, будьте свидетели мне, грозитя он! Спросите-ка его, чем он грозитя,

а?

Мир молчит, смотрит, ждёт – кто окажется сильнее.

– Я одно говорю тебе, Кузьма, – повторил Никин, – ты меня не тронь!

Видел я это: стоит он на аршин выше старика ростом, стоит прямо, голова без шапки, брови сдвинуты, лицо открытое, спокойное. А спокойствие сила; топор спокоен, а рубит дуб под корень.

Обрадовался я, что прошла эта история быстро, – мешала она, отводя от дела в сторону.

Когда воротился из-под ареста Досекин, был у меня с ним значительный разговор; зашёл он ко мне и, посидев немного, спрашивает:

– Правду Ваня мне сказал, что Алексей с Никиным пошли Настасьё Астахову красть, а вы будто одобряете их?

– Одобрять не одобряю, а помочь пришлось, – говорю. – Тяжело Авдею-то.

Он, аккуратно свёртывая папиросу, заметил:

– На тяжёлом силу и пробуют.

Окутался сизыми дымами и молчит. Чувствую – что-то ему не нравится.

– Разве, – мол, – вам не жалко товарища?

Он прищурил глаза и, глядя на окурок папиросы своей, спокойно говорит:

– Жалко. Человек полезный. Только это – его дело, и нам оно ни к чему. Я так смотрю: или пни корчевать, или горох воровать – что-нибудь одно.

И снова усиленно задымил. Курит он какую-то ядовитейшую махорку, дым от неё столь жестокий, что комары и мухи, влетая в зеленоватые струи его, кувырком падают на землю. А он хвастается:

– Замечательный табак! Стекло разъестъ может...

Помолчав, Егор спрашивает:

– А как вы, товарищ, думаете – вот теперь мы тут кое-что прочитали, привели мозги в движение – не начать ли нам полегоньку пробовать наши силы и пригодность к делу? Вы, конечно, оставайтесь в стороне, а нам бы, здешним, думаю, пора. Для проверки больше – сколько знаем, и что нужно знать, и какие вопросы будут ставить нам.

Подумав, я говорю:

– Соблюдая осторожность, пожалуй, можно.

Он отбросил окурок и просиял.

– Вот и хорошо! Дело, видите, в том, что всё ж таки мы здесь народ замеченный: одни на нас косятся, другие как бы ожидают чего-то. Тут есть такие задетые за сердце люди... Заметили вы – мимо вас старик один всё прихрамывает? Малышеву Ивану двоюродный дядя, начётчик, Пётр Васильевич Кузин – слышали? Он уже что-то понимает, как видать, и племянника выспрашивал про вас, и ко мне подъезжал не однажды. Человек внимательный.

Чувствую, что Досекин хочет что-то сказать и не решается. В словах у него явилось нечто вычурное и необычно для него церемонное.

– Считаете опасным его? – спрашиваю.

– Остерегусь сказать, – ответил Егор, пристально глядя на меня кремнёвыми глазами, – думается мне, что он к вам придёт. Я вам расскажу про него, что знаю,

а вы, поговорив с ним, сами увидите, каков человек.

И рассказал: начётчик Кузин имеет славу человека, знающего писание, но дерзкого и неуживчивого. Всю жизнь кормился около богатых, на выборах в первую и вторую Думу тянул их руку и по сей день числится в чёрной сотне. Года полтора тому назад в губернском городе был арестован его зять, сидел в тюрьме, теперь осуждён и сослан на поселение. Кузин ездил хлопотать за него, но без успеха, а хлопоты эти были поставлены ему в вину; лесовладелец Скорняков, окружной богатей и воротила, отобрал у него за долги избу и пчельник. Кузьма Астахов говорит на деревне и по округе, что старик заразился, дескать, крамолой, и теперь старый этот человек бродит где день, где ночь, осторожно поругивая бывших своих дружок и заводя себе новых среди деревенской бедноты.

Рассказав мне эту историю, перечислив новые знакомства Кузина, Досекин, усмехаясь, намекнул:

- Кажется мне, что старик, будучи обижен, затевает что-то на свой страх.

- А что?

- Да так... вообще, бубнит, бормочет, - неопределённо сказал Егор и, вспомнив какое-то дело, поспешно ушёл, а я остался размышлять - зачем всё это рассказал мне и чего желает мой тёзка?

В Гнездах всего тридцать два двора, я прожил здесь уже два месяца с лишком, знаю всех хозяев, все истории, связи, степени родства, знаю и перечисленных Досекиным друзей старого начётчика.

Нил Митрич Милов - зовётся в деревне Мил Мильчем за свой тихий нрав. Мужичок маленький, задумчивый, даже и в красной рубахе он серый, как зола, ходит сторонкой, держится вдали от людей, и линючие его глаза смотрят грустно, устало. И жена у него такая же, как он, - молчаливая, скромная; две дочери у них, семи и девяти лет. Перед пасхой у Милова за недоимки корову свели со двора.

Савелий Кузнецов - человек изувеченный, едва ходит: работал прошлой весной в городе на пивном заводе, и там ему пьяный казак плетью рёбра перебил. Встречался я с ним часто - он любит на бугре у мельниц лежать, греясь на солнышке. Мужчина мне неизвестный: он не столько говорит, сколько кашляет.

Затем идёт Михайло Гнедой - до войны был мужик зажиточный, но за время войны и плена старший брат его Яков попал в беспорядки - жгли усадьбу князя Касаткина - был поранен и скончался в тюрьме. Жена его тотчас вышла замуж за Корнея Мозжухина. Корней прибрал к рукам долю Михаила, а жену его выжил из дому, ушла она в город и пропала там. Возвратясь из плена, Гнедой оглянулся вокруг и начал пить, пропил всё, что мог, да к тому же Мозжухину и нанялся в батраки. Каждый праздник ходит по улице пьяный, ругает своего хозяина и всех богачей, а они на него жалобы подают, и то волостной, то земский начальник сажают солдата в холодную.

"Что ищет и находит старый Кузин у этих порушенных жизнью людей?" думаю я, сидя под окном.

Душно. Висят над деревней тучные облака, пробегает вдоль улицы суетливый ветер, взмётывая пыль, где-то над лесами гулко гудит гром, и чёрная ночь лениво вздрагивает в синих отблесках далёких молний. Слышу мерный и тяжкий топот коня - это едет по деревне стражник Семён, отставной гренадёр; деревня боится его, считая полоумным. Человек ночной, угрюмый, крупный, ои сух лицом, чёрен, не улыбнётся, не мигнёт - точно идол чувашский, резанный из дерева. Ночи напролёт шагает по деревне и вокруг неё тяжёлый серый конь, а стражник, чернобородый и прямой, качается в седле с винтовкой на коленях, тёмными глазами смотрит вперёд и поверх головы старого коня, как бы выслеживая кого-то вдали.

Властью своею над людьми он почти не кичится, мужиков не задевает, и днём его не видно - спит. Только когда подерутся мужики и жёны их позовут его - выйдет, тяжёлый, сонный, остановится около драчунов, долго смотрит на них туманными глазами и, если они упадут на землю, молча пинает их толстою ногой в тяжёлом сапоге.

Весь он какой-то тёмный, всегда угнетён угрюмым молчанием, и никому не хочется спросить его – о чём он молчит?

Досекин рассказал мне всё, что известно о нём: служил он в Москве, и когда разгорелось там восстание, видимо, оно ударило солдата. Весной после переворота явился он в деревню и тогда был совсем не в себе: трезвый прячется ото всех, ходит согнув шею и уставя глаза в землю, а напьётся встанет середь улицы на коленки и, земно кланяясь во все стороны, просит у людей прощения, за что – не говорит. Тогда мужики ещё не сократились, злоба против солдат жива была, и они издевались над пьяным.

– Что, сволочь? Напакостил, а теперь самого с души рвёт?

И нет-нет да кто-нибудь и ударит его, а мальчишки камнями в спину лукают.

Даже брат его, злой и кляузный мужик Никита Лядов, стал советовать:

– Тебе бы, Семён, в город уйти, а здесь ты ни к чему, как зуб вырванный!

Тогда гренадёр покорно ушёл из деревни, и ушёл ночью, никем не замеченный, никому не сказав, куда идёт, так что Лядова семья испугалась, думая, не порешил ли он себя, и двое суток Лядовы ходили вокруг деревни, искали его. Явился он здесь в прошлом году в страдное время – хлеб бабы жали и видят: по дороге из города идёт большой серый конь, а на нём сидит, опустя голову, воин, за спиной ружье, на боку плеть и сабля. Едет мимо людей – не кланяется, здороваются с ним – не отвечает, сразу всех напугал, да вот с той поры и качается в деревне, никому не понятен.

Против моего окна встал. В темноте он словно облако, опустившееся в пыль земли. Мне чудится, что стражник смотрит в мою сторону, и это – жутко.

Но вот раздаётся глухой окрик:

– Н-но, бр-ревно!

И снова тяжёлые копыта чётко топают по сухой земле.

Когда я лёг спать – мне подумалось:

"А может быть, он хотел поговорить со мной?"

Наступало деловое летнее время, товарищи мои целыми днями живут в работе, собираемся мы редко, читать им некогда, мне приходится выслеживать каждый свободный их час. Хожу с ними в ночное и там ведём устные беседы, по праздникам устраиваем чтения в лесу – готовимся к осени.

Алёша свободен от трудов, занятия свои с подростками ему пришлось сократить – и у них нет времени. Он живёт со мною, на дворе в сарайчике, как бы под видом работника моего, самовары ставит, комнату метёт, ревностно гложет книжки и, нагуливая здоровье, становится более спокоен, менее резок. Ходит в уездный городок – тридцать две версты места, – книги, газеты приносит от указанных мною людей, и глаза у него смотрят на мир всё веселее.

Обед нам стряпает чернобровая дама, солдатка Варвара Кирилловна, женщина лет двадцати двух, статная, здоровая – очень интересный человек: разговаривает она больше улыбками красных и сочных губ да тёмных, насмешливых глаз, держится строго – попробовал было Алёша шутки с нею шутить, но быстро отстал и начал относиться почтительно, именуя её по отчеству.

Я его спросил:

– Что, Алёша, как будто ожёгся ты?

Сконфуженный немножко, он серьёзно отвечает:

– Было, Петрович, хоть и не очень, ну как раз впору однако! Знаешь, женщина неглупая и немного грамотная, надо бы и ею заняться!

Я предупреждаю:

- Ты всё-таки не весьма откровенно беседуй с нею.
- Это бы тебе побеседовать, - усмехаясь, говорит он, - а меня она высмеивает.

Попробовал я, но, кроме ласковых улыбок, никаких ответов не получил. Присматриваюсь.

Узнал, что вдовееет она уже второй год - муж у неё чем-то проштрафился, и осудили его в дисциплинарный на два с половиной года без зачёта, так что увидит она его - коли увидит - не раньше как лет через пять. Дурных слухов про неё нет, хотя парни вьются около неё, как шмели, и Егор Досекин, заметно, всех упорнее. Из мужнего дома, от свёкра, она ушла и живёт со своей матерью, полуслепой старушкой, великой мастерицей пояски ткать и лестовки (- кожаные чётки у старообрядцев. - Ред.) делать. Сама Варвара на все руки мастерица: и платья невестам шьёт, и бисером ризы нижет на иконы, и ткать ловка, но - этим не проживёшь, приходится ей заниматься подёнщиной. Есть у неё брат, работает на лесопилке верстах в сорока, пьёт горькую и в деревне почти не бывает.

Однажды, перед каким-то праздником, пришла она мыть пол, осмотрела комнату и, неодобрительно качая головою, говорит:

- Эко книг-то накопили!

И верно, многовато их набралось. Натаскал Алёша из города и такого, что не нужно нам пока, да и небезопасно держать.

- Да, - говорю, - действительно!

А она, подтыкая подол и не глядя на меня, вполголоса замечает:

- В деревне не очень любят книги.
- Не все, - мол, - не любят.

Она значительно и как бы намекая ворчит:

- Вот газет мужики не боятся, а книги - считают опасными.

Тогда я спрашиваю её прямо:

- Разве говорят что-нибудь про мои книги?
- Не слыхала, - отвечает. - Ну, уходи - я примусь.

И наклонилась над ведром. А когда я вышел в сенцы, говорит:

- Всё-таки, которые лишние - не держать бы дома-то.

Обернулся я, встал в двери - странно мне. Согнувшись, она уже плещет водой и скользит по мокрому полу, сверкая белыми икрами. Смущённо отошёл прочь, и с того дня легла она мне на душу.

Уж доведу до конца эту историйку, перескочив через многие события дней. Вскоре после сего разговора гулял я в праздник по лесу, готовясь к очередной беседе с товарищами, вышел на поляну и вижу: сидит она под деревом, шьёт что-то, а тут же её корова с телёнком пасётся - недавно отелилась, и Варвара ещё не пускала её в стадо.

День жаркий, поляна до краёв солнцем налита, в густой траве дремлют пахучие цветы, и всё вокруг - как светлый сон. И она, в тени, тоже как большой цветок - кофта красная, юбка синяя, и тёмные брови на смуглом лице. Смотрит на меня и ласково улыбается, сощуривая зеленоватые глаза.

- Гуляешь? - спрашивает.
- Да, - мол.

- По годам-то тебе, - говорит, посмеиваясь, - с женой давно пора бы гулять, а ты всё с книгами. Это о чём книга?

- О крестьянстве. Так и называется: "Крестьяне на Руси".

- Ишь, - говорит, - сколько написано!

Неловок я с женщинами, хоть и солдат и в городе жил, а нет у меня лёгкости в обращении с ними - может быть, это потому, что до той поры самой близкой и дорогой мне женщиной была мать моя.

Стою я против Варвары, а она, глядя на меня снизу вверх, спрашивает:

- А колдунских книг нет у тебя?

- Это о чём?

- О чём! О колдовстве! Как приворотные зелья варить.

- На что тебе, - говорю, - зелья эти? Вон ты какая хорошая!

Почему-то грустно мне и неловко перед ней, а она - смеётся тихонько.

- Разве хороша?

- Приворожишь и без колдовства.

- Да ну?

- Будто не знаешь?

- Ей-богу, не пробовала!

- Оттого, что нужды нет, сами парни льнут.

Весело и тихо смеётся.

- Видно, оттого! - говорит.

В лесу человек упрощается: всё вокруг него просто, всё живёт открыто и цветы, и птицы, и разное дерево.

Спрашиваю:

- Скучно тебе без мужа-то?

- А ещё бы!

Прищурила глаза. Взгляд у неё острый, щекочет он мне губы и манит сесть рядом с нею. Сел.

Она меня толкнула плечом и тихонько, ласково спрашивает:

- Али поцеловать меня захотелось?

Вздогнул я.

- Да, - говорю.

- Так ты бы, - говорит, - поцеловал!

А потом, лёжа у меня на коленях, смотрит она в лицо мне и мило говорит:

- По душе ты мне, Егор Петрович!

- Спасибо, мол, Варя!

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Смотрю я на тебя: такой ты простой со всеми и такой скромный, будто и не мужчина. Хороший, видно, ты человек!

Смущают меня её похвалы, а приятно слышать их.

- Не очень я красив, - говорю, глядя её голову.

- Это ничего! - отвечает. - Красоту даёт любовь. Опять же сказано: красна птица перьем, человек ученьем.

Всё больше нравится мне она в речах её, и так хорошо на душе у меня, словно с покойной матерью встретился.

Встали, вышли на солнышко, ходим плечо с плечом, смотрит на нас корова круглым глазом и ласково мычит, кланяются золотые метёлки зверобоя, пряным запахом дышит буквица и любимая пчёлами синь. Поют весёлые птицы, гудят невидимые струны, сочный воздух леса весь дрожит, полон ласковой музыки, и небо над нами - синий, звучный колокол из хрусталя и серебра.

С того дня мы и зажили потихоньку в крепкой дружбе и горячей любви.

Сначала я думал, что она не серьёзно затеяла это, а так, ради удовольствия, но вижу - чем дальше, тем более внимательна она ко мне, а однажды, ласкаясь, говорит:

- До тебя я людей-то словно половинками видела, право! А теперь всё круглее стало.

- Ну, - говорю, - я рад этому. Больше видишь - больше любишь.

Смеётся.

- Тебя?

- Всё житьё.

- То-то!

А в другой раз, озабоченная, молвила:

- По округе пошли про тебя слушки разные, пожалуй - вредные тебе. Полола я огород на скорняковской мельнице, был там Астахов, и говорили они со Скорняковым и Якимом-арендатором, что ты молодых парней не добру учишь, запрещёнными книгами смущаешь и что надо бы обыск сделать у тебя.

- Вот как!

- Да.

- А тебе боязно за меня?

- Ещё бы! Теперь вон какое время - то и дело в тюрьму таскают людей.

- С этим покуда ничего не поделаешь. Будут таскать.

Она вздохнула и, помолчав, предлагает:

- А ты бы, коли у тебя опасные книжки есть, дал бы их мне. Уж я так спрячу - вода не найдёт!

Избёнка её стоит на отлёте, у самой околицы, и за огородом, саженьях в двадцати, - лес.

Объясняю ей, что, конечно, хорошо бы спрятать кое-что у неё, но нельзя: нельзя вовлекать человека в дела, опасного смысла которых он не понимает и может за них жестоко потерпеть.

Опустив глаза, она тихо говорит:

- А ты бы смысл-от объяснил мне, попробовал, может, и я поняла бы чего-нибудь.
И, укоризненно посмотрев на меня, продолжала:

- Думаешь, не догадываюсь я, зачем ты здесь?

- А зачем?

- Парней обучать, конечно!

Мне стало стыдно пред нею, и после этого разговора я начал приучать её к чтению, давая разные простые книжки. Сначала пошло туго, и долго она стеснялась сказать, что не понимает прочитанного, а потом как-то сразу вошла во вкус, полюбила книжки и, бывало, горько плачет над судьбою прикрашенных писателями книжных людей.

Теперь - о Кузине.

Действительно, дня через три после разговора с Егором явился он ко мне вечером, на закате солнца. Сидел я один и пил чай - вдруг под окном высокий голос спрашивает:

- Дома ли хозяин-то?

- Милости прошу, пожалуйста!

И вот, согнувшись в три погибели, он ныряет в мою горенку, удобно усаживается за стол и сразу заводит бойкую, развязную беседу.

- Глядел я, глядел на тебя - и надумал: дай-ка пойду, познакомлюсь, какой там дачник-задачник живёт-то у нас?

Старичище большой и нескладный: худой, сутулый, руки длинные, хромает - на левой ноге плюсна обрублена по тому случаю, что, будучи молодым, шёл он ночевать к мужней жене и попал в капкан волчий, приготовленный мужем для него.

- Человек я, - говорит, - сызмала любопытный и всю жизнь любопытством живу, а про тебя идёт слух, будто ты хорошо начитан, - как же мне такой случай упустить-то?

Голова у него большая, лысая, лицо строгое, жёлтое и глаза рассыпью то колют тонкими, как иголки, хитрыми лучами, то вдруг округлятся и зелено горят, злые и насмешливые, рыжеватая с проседью борода растёт кочьями, буйно.

Отпил чай, упёрся длинными руками о скамью и, освещённый красными лучами вечернего солнца, надломленно подался вперёд.

- Вот и пришёл послушать - как о делах деревенских думает городской человек!

Я говорю:

- Лучше вы мне расскажите, что вы думаете, - вы меня старше, вам больше знать!

- Знатьё-то, - говорит, - у меня есть, да не кругло, концы с концами не сходятся! Мы, деревенские, против вас - люди малого ведения, и нам ваше слово, как зерно весной, дорого.

С час времени занимались мы тем, что осторожно охаживали друг друга церемонными словами, ожидая, кто первый откроет настоящее своё лицо, и вижу я - старик ловкий; в пот его не однажды ударяло, а он всё пытается меня: то начальство осудит за излишние строгости и за невнимание к нужде мужика, то мужиков ругает - ничего-де понимать не могут, то похвалит деревенскую молодёжь за стремление к грамоте и тут же сокрушается о безбожии её и о том, что перестала она стариков слушать, хочет своим разумом жить. С одного бока пощупает и с другого, и сзади заходит, и всяко, а напрямки - не решается.

Я, где можно без ущерба, поддакиваю, а больше молчу, следя за игрой его глаз и

морщин на живом лице.

В открытое окно жарко дышит летняя ночь, слышен тихий лай собаки, и гулко ухает ботало на реке.

Чувствую – сердится старик на меня, думаю, жалеючи его:

"Говорил бы ты сразу – чего надо тебе!"

А он крепко трёт лысину и уже несколько устало, с досадой говорит:

– Главная беда – боязлив народ, все друг друга опасаются, мысли свои скрывают. И живут в разброде.

– Разговаривать-то, – мол, – запрещается, да и строго.

– А коли жизнь стала строже – человек будь сильней, – твёрдо выговорил он. – Ты как думаешь, буря эта по земле прошла – не задела она мужика-то? Только опаматоваться ему не дали, скоро больно рот заткнули кулаком, размять кости не успел – связали и снова командуют: лежи плашмя вниз носом-то! Он лежит – как ему иначе? Чуть приподнял голову – бьют. Он лежит смиренно, а о чём он думает – никому это неизвестно. Однако сообрази, можно ль ему не думать, когда случилось эдакое странное дело – вдруг говорят ласковым голосом: помоги, мужичок, пришли своих-то людей для управления делами, мы больше не можем, и всё у нас останавливается. Он – послал. Прогнали: нет, эти не годятся, ты других собери. Других! Это, брат, было очень занимательно, когда других потребовали; наша деревня, Малинки, Василево, Фомино – в один голос решили: Якова Гнедого выборщиком-то. А Яков-то этот – самый дерзновенный мужик на всю округу, на дерзости и жизнь потерял – знаешь?

Старик понизил голос, заглянул в окно и снова нагнулся ко мне, крепко держась руками за край скамьи.

– Шёл общий наказ – партионных выбирай, которые решительно говорят, чтобы всю землю и всю волю народу, нечего там валандаться-то! Ну, выбрали. Нашего депутата уж и назад не вернули, а прямо в Сибирь. И опять: не годятся, других! Ты полагаешь – не задумался мужик над этим? А как стали выбирать третий раз, и повалил мироед, богатей-то...

Он остановился, замолчал и уставился на меня круглыми глазами, пряча в бороде нехорошую усмешку.

– Я в Думу эту верил, – медленно и как бы поверяя себя, продолжал старик, – я и третий раз голос подавал, за богатых, конечно, ну да! В то время я ещё был с миром связан, избу имел, землю, пчельник, а теперь вот сорвался с глузду и – как перо на ветру. Ведь в деревне-то и богатым жизнь – одна маета, я полагал, что они насчёт правов – насчёт воли то есть – не забудут, а они... да ну их в болото и с Думой! Дело лежит глубже, это ясно всякому, кто не слеп... Я тебе говорю: мужик думает, и надо ему в этом помочь.

Он встал, посопел носом и предлагает:

– Ты прикрой-ка окошко-то!

Я прикрыл. В сумраке вижу его озабоченное лицо, смешно мне немного и приятно, что, наконец, человек выходит на прямой путь.

– Вот что: я – человек открытый и люблю прямоту; это правда, спроси кого хошь. Я пришёл с честной душой, ты верь, я тебе объясню это. Чего я добивался в жизни – ей-богу, не знаю! Мог быть богат, и не один раз, через баб – ну пропустил все сроки однако. Стукнуло полсотни годов – думаю: "Давай, буду жить спокойно на пчельнике своём, пора! И пусть меня никто не трогает". Выдал дочь замуж за хорошего парня, отдал ии некоторые деньжонки, сот пяток – всё хорошо! Вдруг начался этот всеобщий переворот жизни – Думы, выборы, споры... тут зять мой ухнул в тюрьму, дочонка за ним в ссылку пошла, всё это одно на другое – с головой завалило меня-то. Оглянулся, гляжу – исчезоша, яко дым, надежды моя на спокойный конец дней, ничего у меня нету, всё отобрано, и дружки мои, солидные люди, отрицаются меня, яко еретика и крамольника, попрекая за хлопоты о зяте –

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

таковский-де, и не должен был я заступаться за него, да! А он, зять-то, умница и... ну ладно, это дело домашнее! И вот я, значит, остался ныне, яко вран noctный на нырище, брожу с места на место, думаю...

Закрыв он глаза и, качая голым черепом, молчит. Мне его жалко: видимо, не глупая и живая душа, а зря пропала.

- Как же, - мол, - Пётр Васильевич, учительство ваше? Говорят - вы известный начётчик?

Усмехнулся он.

- Ныне, - говорит, - этим сыт не будешь. Теперь иной родися бог: раньше молились - отче наш, иже еси на небеси, а теперь - вашевашество, иже еси в городе, сохрани и избави нас от злаго мужика!

И, снова жутко посмеиваясь, шепчет в темноте:

- Был начётчик, да, видно, вылинял, как старая собака на купцовом дворе. Ты, Егор Петрович, пойми - каково это полсотни-то лет отшагать, чтобы дураком-то себя встретить, - это, милый, очень горько! Был, был я начётчиком, учил людей, не думая, как скворец, бормотал чужое, да вот и разболтал душу свою в мирской суете, да! И верно некоторые говорят еретиком становлюсь на склоне дней-то! Мне бы, говорю, время душа спасать, а я будто совсем обезумел.

Замолчал. Треплет бороду свою чёрными пальцами, и рука у него дрожит. Смотрю на его тусклый череп, и хочется сказать ему бодрое, ласковое слово, обидно мне за него и грустно, и всё больше жалко пятидесяти лет бесполезной траты человеческого сердца и ума.

Начал говорить ему о причинах унижения человека, о злой борьбе за кусок хлеба, о невозможности сохранить себя в стороне от этой свалки, о справедливости жизни, нещадно карающей того, кто только берёт у неё и ничего не хочет отдать из души своей. И о новых путях жизни говорил, как соединить народ, собрать разбитого одиночеством человека. Говорю осторожно и мягко, как могу, ибо понимаю, что предо мной разум вдвое старше меня, много опытнее. Он, прислонясь к стене, слушает меня, не прерывая, ни о чём не спрашивая, а когда кончил я - долго и тягостно молчал.

Потом, как бы вдруг проснувшись, встряхнулся, начал потирать руки свои так, что скрипела кожа, и заговорил, вздыхая:

- Да, милый человек, это ты сказал хорошо. Хо-о-рошо! Ну и я теперь прямо скажу - я ведь догадался, что партийщик ты, я, брат, это понял! Тут не один я разрушился душой - есть таки люди, взыскующие града-то. И до тебя были - Егор Досекин, примерно, Ванюшка; племянник мой, Алёха... Конечно, они молодёжь, нам с ними не рука идти... то есть опасны они кажутся по молодости своей, и мы их с пелёнок видим, ну - и как-то доверия нет. Но, когда прибыл ты и они сейчас же встали около тебя, - тут я догадался! Молчу, всё-таки присматриваюсь, и другие тоже следят. Я им говорю: вы, братцы, и виду не подавайте, всё это - дело тонкое, и можно испортить, значит, не испугать бы тебя-то. Видим, что твёрдо и без страха ходите вы по земле. И вот Савёл Кузнецов подал совет: видно, опять начинается, нам бы пойти к ним-то да спросить - в чём дело? Ну, вот я и пришёл.

Он тихонько засмеялся, взмахнув длинными руками.

- Знаешь, как ребяташки: одни играют, а другие подошли да и просят примите и нас!

Мне нравится его торопливая речь, бодрый голос, шутка и частое крепкое токание. И я думаю:

"Как-то вспыхнут в нашем костре трухлявые пеня и коренья деревни? Сколько могут дать они света людям и тепла?"

- Ничего иного не остаётся живому человеку, как то, что ты говоришь, задумчиво размышляет старик, стоя среди комнаты и поглаживая бороду.

- Значит, - шутливо спрашиваю я, - в социалисты поступаете, Пётр Васильич?

- Эх, родимый! - вздохнув, сказал он. - Как придётся к гузну узлом - и в социалисты пойдёшь! Мне-то что - я один, по многим путям хаживал, пока на этот набрёл; видно, и впрямь - коли смолоду не добесишься, так на старости с ума сойдёшь, - мне что, говорю, а вот некоторых жалко! Не пойдут они по новому-то пути, а на старом месте нельзя стоять - согнаны! Ты гляди, как дело-то идёт: раньше резал деревню крестьянский банк, а теперь вот - выдел вдосталь крошит. Что же будет, куда деваться народу-то? Закачалась Русь родимая! Ну, как будто поумнела тоже - уж не туда клонит, куда враг гнёт, а туда, куда правда ведёт.

И после этих слов он стал спокойнее и солиднее.

Уже светало, когда он, прихрамывая, ушёл от меня.

Радостно встревоженный этой беседою, вспоминая сказанное нами друг другу, я открыл окно и долго смотрел, как за тёмной гривой леса ласково разгорается заря, Тлеют чёрные покровы душной ночи, наливается утренний воздух свежим запахом смол. Травы и цветы, разбуженные росой и омытые ею, сладко дышат встречу заре, а звёзды, сверкая, уходят с востока на запад. Яростно споря друг с другом, поют кочета, звонкие голоса вьются в воздухе свежо и задорно, точно ребячий гомон.

Воскресенье, деревня ещё спит, но уже порою раздаётся сонное мычание скота - звук густой, мягкий и добрый. Проснулись воробьи и прыгают по дороге, брызгая пылью, торопливо пролетает сорока, а потом, вдали, слышен её трескучий крик. Скоро в Малинках ударят к обеду.

К вечеру собрались мы пятеро в скорняковском лесу, Я подробно рассказал товарищам о беседе с Кузиным.

Алексей сейчас же на дыбы встал.

- К чертям! - кричит. - Ещё наплетут на нас, чего нет, да и выдадут всех! Разве можно верить Кузину? Что вы! У него стражник Семён - первый друг!

Ваня робко возражает:

- Дядя Пётр - человек крепко обиженный и вообще он - хороший старик, ей-богу! А что со стражником дружит - так он же его с малых лет знает, грамоте учил. Нет, Алёша, ты вот что пойми - это и есть начало...

Никин задумчиво говорит:

- Да! Вот оно как, и стариков схватывает! Звать, правда, что всякая жива душа калачика хочет.

Алексей ему кукиш к носу суёт.

- Вот им калачик!

- Не о том говорите вы! - вступился Егор. - Тут прежде всего надо сообразить, чем они могут быть полезны нам.

Алексей твердит своё:

- Будут полезны, как цепи железны. Вот и всё!

Начался шум и спор. Алексей с Иваном схватились так, что тихий Ваня даже покраснел весь. Никин хочет их помирить, но, видимо, сам не знает, что сказать, говорит на два и тоже сердится. Я - молчу, это не мне решать. А Егор непрестанно курит, слушает всех и тоже молчит.

Сидели мы у опушки леса над рекой. Поздно было, из-за Малинкиной колокольни смотрело на нас большое, медно-красное лицо луны, и уже сторож отбил в колокол десять чётких ударов. Всколыхнули они тишину, и в ночи мягко откликнулись им разные голоса тайных сил земли.

Устали спорить, а ничего не решено. Ваня грустно говорит:

- Ежели подышать на человека теплом нашей веры - должен он ожить!
- Какой ты Иван! - кричит Алёша. - Ты Марья, Агафья!

А Никин бормочет:

- Ежели на совесть взять их...

Егор Досекин встал на колени, отбросил папиросу и, глядя на всех сразу, решительно заговорил:

- Горазды мы спорить, а всё-таки пора кончать, вечер-то убили. Взвесьте вот что: Кузин человек известный, полиция его уважает, он свободен, всюду ходит - разве мы в таком ходатае не нуждаемся? Это раз. А что он со стражником дружит - чем плохо? Вот и пускай он прежде всего скажет этому стражнику, чтобы его благородие не замечало нас, чтобы осень и зиму не пришлось нам, как в прошлом году, прятаться по оврагам да овинам, мёрзнуть и мокнуть.

- Вот это верно! - сказал Авдей усталым голосом.

- Уж коли они догадались о нас, - продолжает Досекин с усмешкой, прятаться нам поздно и говорить тут не о чем. О других я ничего не скажу, а Кузин - полезный человек.

- Вот увидите, какой он! - радостно воскликнул Ваня и, обняв Алексея, уверяет его: - Ты не бойся! Мы их живо обратим.

- А ну вас к чертям! - свалив его на землю, весело говорит Алёха. Разве я боюсь чего? Не из страха говорю, а - время жалко - когда мы их обломаем? Нам самим некогда учиться-то!

Свёртывая папироску, Досекин чётко сказал, не глядя на меня:

- А учить их не наше дело. Это уж Егор Петров учитель.

Порешили на том, чтобы Кузин свёл нас со своей компанией в ближайший свободный день, местом выбрали пустую летом землянку лесорубов в скорняковском лесу.

Ваня сияет, катаясь по песку и выкрикивая:

- Ей-богу - хорошо это, братцы! Будут они нам помощники!

Вдруг зоркий Алексей приложил руку ко лбу, поглядел вдаль и ворчит:

- Стражник...

Видим - из-за мельниц вышел толстоногий и мохнатый серый конь. Мы все в лунном свете, и, должно быть, нас ясно видно на жёлтой полосе песка.

- Разойдёмся? - не то советуя, не то спрашивая, молвил Егор.

Никто не шевельнулся, хотя разойтись нам легко: лес вплоть, а верхом по лесу без дороги далеко не ускачешь.

- Ничего! - шепчет Ваня.

- По-моему, он - дурак! - неожиданно сказал Авдей.

Ждём. Всё более гулко топает конь, покачивается в седле большое стражниково тело, и земля словно отталкивает его чёрную тень. Нам жутко. Сдвинулись теснее, молчим, а где-то заунывно воет собака, и плеск реки стал ясно звонок.

Блестит медный знак на шапке стражника и ствол ружья в руках у него, видно его чернородое лицо, бессонные глаза, слышен запах лошадиного пота. Лениво фыркая, конь прядает ушами и, наезжая на нас, нехотя влачит по земле тяжкую тень всадника.

Плывет хриплый Семёнов голос:

- Что за люди?

Ваня, выдвинувшись вперёд, ответил:

- Мы.

Конь остановился, мотая головой.

- Чего делаете?

- Гуляем.

- Беседуем, - добавил Алексей.

Семён, подняв ружьё дулом в небо, наклонился вперёд, поглядел.

- Чужие есть?

Тёзка мой ответил:

- Все свои.

Помолчав, стражник дремотно говорит:

- Шли бы спать. Полуночники! Разве без девок гуляют?

И дёрнул повод.

- Н-но!

Как бы прощаясь с нами, конь круто наклонил голову, тяжело ударил копытом в землю, а не тронулся.

- Н-но! - крикнул стражник, широко разинув рот, толкнул лошадь прикладом в шею и поехал вдоль реки, косясь на неё.

А мы пошли по домам.

- Стара у него лошадёнка, - тихо сказал Авдей.

Все молчат, идя тесной кучкой.

- Ишь хребет-то провис как...

Егор Досекин обернулся назад, поглядел и говорит:

- Видно, на мельницу поедет, пьянствовать...

У меня вдруг вспыхнуло желание догнать стражника и поговорить с ним один на один. Задел он меня чем-то.

- Я ещё погуляю, братцы.

Алексей молча двинулся за мной.

- Нет, - говорю, - я один.

И пошёл прочь от них, а они, стоя на дороге, замахали руками, вполголоса споря о чём-то. Понимаю, что беспокоятся они, и это мне приятно.

- До завтра! - кричит Ваня.

Снял шапку, отмахнулся им и, выйдя на реку, шагаю берегом, против течения. Река вся в луне, точно серебряным молотом кована; течёт и треплет, полощет отражение моё, наполняя душу миром, приводя её в ласковый, грустный строй. Из-за леса облака плывут, верхний ветер режет их своими крыльями, гонит на юг, а на земле

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

ещё тихо, только вершины деревьев чуть шелестят, сбрасывая высохшие листья в светлый блеск воды. Плавают в ночной тишине отдалённые звуки сторожевых колоколов, провожая отошедшие часы; трепетно сверкают в прозрачной высоте одинокие крупные звёзды лунной ночи, и дивит ночь ум и глаз разнообразной игрой света и теней и загадочными звуками своими. Напилась земля за день солнцем, крепко спит, пышно одетая в травы и цветы, а леса молча сосут её тёплую, сочную грудь.

Люблю я ходить летними ночами один по земле – хорошо думается о ней и о мире в эти часы, точно ты углубил корни до сердца земного и вливается оттуда в душу твою великая, горячая любовь к живому.

На повороте моей тропы из-за кустов выдвинулся Семёнов конь и прынул в сторону, испугав меня и себя.

– Кто?.. – крикнул стражник, матерно ругаясь, и направил ружьё меж ушей коня сверху вниз – тоже испугался.

А узнав меня, ворчит:

– Что вас чёрт таскает по ночам-то!

– А тебя?

– У меня – служба!

– Вот и у меня тоже, – смеюсь я. – Ты за ворами следишь, а я за звёздами.

– За звёздами...

Он свалился на землю, словно куль муки, бросил поводья в куст и, разминаясь, спрашивает хрипло:

– Куришь? Ну, я один покурю. Сесть, что ли...

Уселись на песке рядом, он положил ружьё на колени, зажёг спичку, поглядел на меня, мигая глазами, и, глядя ствол ружья, говорит:

– Росы хороши... Дождей мало, а вот росы обильные. Говорят – вредно это хлебу.

Курит он жадно, глоток за глотком, точно боится, что отнимут у него папиросу. Я спрашиваю его:

– Что, дядя Семён, доволен ты этой службой?

– Ничего! Что ж? Катаюсь вот! – не сразу молвил он. И бросив окурочек, зарыл его в песке каблуком сапога.

Спрашивает:

– Ты в солдатах служил?

– Нет.

– А походка у тебя – как у солдата...

Хочу я разговориться с ним и – не умею, не могу начать. Веет от него водкой и ещё чем-то тяжёлым, что связывает мысли.

– А что, – мол, – Пётр Васильич Кузин не родня тебе?

– Кузин? Нет!

Роет ногой яму в песке. Лицо у него тупое, мёртвое, и тёмные глаза стоят неподвижно, как у рыбы. Нехотя и задумчиво говорит:

– Я его уважаю, хороший старик. Умный, священное писание знает.

Замолчал и снова закурил. И медленно, будя во мне скучную досаду, тянет слово за словом:

- Только и он тоже - сдаёт, да! С той поры, знаешь, как пошатнулся народишко, и он, старый, склоняется...

- Куда? К чему?

- Вообще! Как все: против начальства... да и насчёт бога слабее стал. Когда я жил у брата, у Лядова, - знаешь? - он туда часто приходил. Придёт и сейчас спорить: всё, говорит, неправильно. А теперь я живу у Кузьмы Астахова - поругался с братом, - а он, Пётр Васильч, к Астахову не ходит, тоже поругался. Не знаю, как он теперь...

- А тебе надо знать, кто как думает? - спрашиваю я.

Он тянет:

- Да-а, как же? Надо! Я и знаю всё.

Мне кажется, что он говорит всё с большим трудом. Тяжело сидеть рядом с ним. Все его слова - вялые, жёваные, добывает он их как бы с верху души и складывает одно с другим лениво, косо, неладно. И я думаю, что подо всем, что он говорит, легло что-то чёрное, страшное, он боится задеть эту тяжесть, от неё неподвижны его тёмные глаза и так осунулось худое, заросшее жёстким волосом лицо.

- Что же ты знаешь? - дерзко и громко спрашиваю.

Он поднял голову, посмотрел на меня, оглянулся вокруг и говорит, словно бредит:

- Всё, что обязан службой. У скорняковского лесника, сказано мне, сын бежал из ссылки. В Малинках сухопаренькая учительница народ мутит - сейчас дьячок ко мне: гляди, Семён! Астахов Кузьма тоже за всеми следит. Только он сумасшедший, Кузьма-то.

Мне уже не хочется, чтобы он говорил, как-то стыдно и неловко слушать эту речь, проходящую как сквозь сон. А он тяжело ворочает языком:

- Все у него крамольники и воры, и брат мой и ты - все как есть. Брат мой подлец, ну не крамольник! Просто - жулик.

И вдруг он встrepенулся, точно его кто-то невидимый ударил сзади по шее, мотнул головой, отодвинулся от меня и, держась рукой за горло, хрипло и быстро говорит:

- Это всё - идиёты! Все как есть - и Кузьма, и Досекин, и дьячок... Не о том думают они, знаешь? Я тебе говорю - совсем не о том!

Неуклюже поднялся на ноги, выправляя своё тело, и опять хрипит:

- Я тебе однажды скажу, погоди... я, брат, такое дело знаю... такое видел... прямо - умирать надо! Я тебе говорю: люди - как трава - р-раз! - и скошены. Как солома - вспыхнули, и - нет их! Дым, пепел! Одни глаза в памяти остаются - больше ничего!

Он подвинулся к лошади, держа ружьё, как дубину, за конец дула, и, не глядя на меня, заорал на лошадь, спутавшую поводья, начал пинать её ногой в живот, а потом взвалился на седло и молча, трусцой поехал прочь.

Я сижу на песке, точно пьяный, жутко мне, тёмная тоска в душе. Над водой поднимается предутренний, кисейный парок, он кажется мне зелёным. Сзади меня гнутся ветви кустарника, из них вылезает мой тёзка, отряхиваясь и поправляя шапку. Удивлённо смотрю на него и молчу.

- А я, - говорит, - лежал и слушал. Н-ну и чадо!

- Это вы зачем же?

- Да так! - объясняет он, опустив глаза. - На всякий случай. Мы сообща решили

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru
посмотреть... Кто его знает?

Я крепко тискаю его руку, хотя мне смешно.

- Что же вы против него можете?

- Ну, у меня ножик есть! Закричал бы, ежели что.

Я обнял его за плечи, и мы не торопясь пошли в деревню.

- Смелый ты человек, Егор Петрович! - задумчиво говорит тёзка, стараясь шагать в ногу и заглядывая мне в лицо. - Я бы вот не стал говорить с ним один на один, ну его! Боюсь этаких...

Мне понравилось, что он первый заговорил на ты, и случилось как-то так, что я рассказал ему в то утро всю мою извилистую, интересную жизнь. Это бывает иногда: вдруг неудержимо захочется говорить о себе, рассказать всё, что прожито, ввести другого человека в свою душу, показав всё, что понято тобою в ней и дурного и хорошего. В нашем деле это необходимо: нужно, чтобы товарищ вполне знал, кто ты и чего ему ждать от тебя в тот или иной трудный час жизни. С того времени наша дружба окрепла, так что даже в деле, где всегда люди ссорятся, мы с ним поладили мирно.

Это было через некоторое время после того, как стало известно о моей связи с Варей. Поздно ночью шли мы с ним из Боярок, где объясняли мужикам думские дела и подлое поведение депутата нашей округи. Шли не торопясь, разговаривая о том, что видели, довольные мужиками и собою.

Неожиданно он спрашивает:

- Верно, что ты сошёлся с Варварой?

- Верно, - мол.

Крякнул он и, сдёрнув шапку, помахивает ею над головой. Молчит.

Дорога узкая, темно, мы идём плечо к плечу и, когда запнёмся за корневище, толкаем друг друга.

- Ты, - говорю, - что замолчал?

Тогда он тихонько ворчит:

- Обидно, брат, мне несколько! Я было тоже рассчитывал на неё... да вот и прозевал!

Я смутился. Что тут скажешь?

И глупо говорю:

- Этого я не знал.

- При чём тут знатьё? - невесело восклицает Егор. - Тут - счастье. Я за нею со святок ходил, уговаривал её, а выпало тебе. Жениться, видишь ты, мне совсем неохота, то есть так, чтобы своим домом жить и всё, - на этом даже уж и отец не настаивает, поборол я его. А она - баба свободная, хорошая...

- Да, хорошая! - невольно поддакнул я.

- Ведь верно?

И вдруг оживился, толкнул меня плечом:

- Ты гляди - вот я тебя и моложе и с лица получше, ты не обижайся, ладно? А однако она тебя выбрала! Стало быть - не быка ищет баба, а человека!

Не совсем понимаю его, не знаю, что сказать, и бормочу:

- Разве же ты бык?

- Такова поговорка. Я, признаться, до этого раза баб не дорого ценил: "Нужна баба, как и клеть, а для бабы надо плетть", - поётся песня. А теперь - задумался: пожалуй, ведь и у нас могут образоваться женщины, подобные городским, а?

Теперь, когда я понял его, мне стало жалко тёзку, совестно пред ним; взял его под руку и прошу:

- Вот что, Егор, ты, пожалуйста, не обижайся на меня, да и на неё, ты же понимаешь...

Он меня остановил:

- Ну при чем же тут вы? Обижаться мне на себя надо - хотел, а не достиг. Нет, насчёт обид - это ты оставь, надо, чтобы ничего лишнего между нами не было, не мешало бы нам дело двигать. Я, брат, врать не буду: мне скорбно - зачем врать? И не знаю, что бы я сделал, кабы не ты это, другой... А тут я понимаю - человек на свой пай поработал, отдых-ласку честно заслужил...

Тронуло это меня.

- Спасибо, Егор...

- Ведь если друзья - так друзья! - ответил он.

И пошли оба мы молча, вплоть друг другу. Но долгое время было мне неловко перед ним, а он, видимо, почуял это; как-то раз спрашивает:

- Ты, слышь, учить её начал?

- Да.

Смотрит на меня, улыбается и говорит:

- Ишь! А я бы не догадался, наверное.

Ясно мне, чего парень хочет.

- Она сама, - говорю, - подсказала мне.

- Ну-у?

Очень удивился и с той поры начал величать её по отчеству, а когда узнал, что она и склад книжек устроила у себя, радостно хохотал, крутя головой и гордо покрикивая:

- Вот это так! Это, брат, хорошо-о! Ежели бабы с нами будут, я те скажу - до удивительных делов можем мы дожить! Ей же богу, а?

... И вот пришла ночь нашего знакомства с людьми Кузина. Весь день с утра шёл проливной дождь, и мы явились в землянку насквозь мокрые. Они уже все четверо были там и ещё пятый с ними.

Суетится в подземной чёрной дыре Милов, конфузливо одёргивая мокрую, залатанную и грязную рубаху, мигает линючими глазами и тонко, словно комар, поёт:

- Здравствуйте, гости дорогие... нуте-ка, садитесь-ка!

А сесть негде - землянка набита людьми, словно мешок картофелем, она человек на шесть вырыта, а нас десятеро.

Гнедой тоже орёт:

- Ага-а, вот они!

Он выпачкал рожу сажей, дико тарашит глаза и похож на пьяного медведя: поломал нары, разбивает доски ногами, всё вокруг него трещит и скрипит это он хочет

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

развести светец в углу на очаге; там уже играет огонёк, приветливо дразня нас ласковыми жёлтыми языками. В дыму и во тьме слышен кашель Савелия и его глухой голос:

- А ты скорей раздувай, Гнедой!

Присмотревшись, видим в углу троих – словно волостной суд там заседает: солидно распространил по нам длинное своё тело Кузин, развесил бороду, сидя на корточках обок с ним, Данило Косяков, человек, нам не обещанный и, кроме как по имени, никому не знакомый – всего с месяц назад явился он неведомо откуда сторожить скорняковский лес.

- Вот черти! – тихонько ругался Алёша. – Притащили кого-то, не спрося нас!

Егор тоже недоволен, сопит носом. Молча усаживаемся на землю, подстилая под себя доски, а Милов топчется, дёргая свою рубаху, и бубнит:

- Проникла водица... разрушилась жилища-то, две зимы не жили в ней...

Резво взыграл огонь, взметнулась тьма, прижалась к чёрным стенам, ко крыше землянки и дрожит, торопясь всосаться в землю.

- Святой огонёк, батюшка, обсуши, обогрей! – весело говорит Кузин.

Савелий, пожимаясь, кашляет, а лесник, тёмный и мохнатый, словно кикимора, озирает нас маленькими острыми глазками.

- Допрежде надо выпить! – кричит Гнедой, вытаскивая откуда-то пару бутылок водки. – Для откровенности.

- Для храбрости! – добавил Милов, сидя на корточках пред огнём и протягивая к нему серые руки с растопыренными пальцами.

Выпили.

Трещит, поёт огонь, качаются стены землянки под толчками испуганных теней.

- Ну, теперь определись к месту! – говорит Кузин, чувствуя себя уставщиком. – Надо начинать благословясь.

- Надо сразу, по-солдатски! – шлёпая рукою по груди, кричит Гнедой, стоя посреди землянки спиной к огню.

- Ты погоди! – пробует Савелий остановить его, но солдат, как огонь, сразу взвился, закрутился, затрепал.

- Годил, довольно! Я, ребята, желаю вам сказать, как это вышло, что вот, значит, мне под сорок, а иду я к вам и говорю – учите меня, дурака, да! Учите и – больше ничего! А я готов! Такое время – несёт оно всем наказание, и дети должны теперь учить отцов – почему? Потому – на них греха меньше, на детях...

Лесник крякнул и тоже кричит:

- Верно! У меня сын, Василей...

- Главное тут... – тихонько стонет Мил Милыч, дёргая меня за рукав. Живём на горке, хлеба ни корки...

- Дайте мне объяснить! – орёт солдат, дико поводя глазами, красными, как уголья, в слёзах от дыма.

- Вы думаете, они нам верят, молодые? Нисколько не верят! Так, ребята? Я – знаю! Разве можно нам верить, ежели мы – подлецы, а? Вот я, вот Кузин, али мы не подлецы?

Старик откинулся к стене и, качая головою, говорит:

- К чему ругаться-то?

- Верно! - соглашается Гнедой. - Это я зря, не надо ругаться. Ребята! - дёргаясь всем телом, кричит он. Вокруг него летает лохмотье кафтана, и кажется, что вспыхнул он тёмным огнём. - Ребятунки, я вам расскажу по порядку, слушай! Первое - работал. Господь небесный, али я не работал? Бывало, пашу - кости скрипят, земля стонет - работал - все знают, все видели! Голодно, братцы! Обидно - все командуют! Зиму жить - холодно и нету дров избу вытопить, а кругом - леса без края! Ребятёнки мрут, баба плачет...

Савелий резко махнул на него рукой и перебил речь:

- Перестань, не вой! Жизнь для всех одинакова.

- Нет, врешь! Не для всех! Али я хуже китайца?

Освещённое красной игрой огня, худое лицо Савелия горит и тает. Глядя в нашу сторону навсегда печальными глазами, он, тихо покашливая, резонно говорит:

- Они сами мужики и наружную жизнь нашу знают.

- Дай мне сказать, Савёл!

Егор толкает меня под бок и шепчет:

- Задело солдата.

- Ну, взяли меня на службу, отбыл три года, хороший солдат. И - снова работаю десять лет. И клянусь землю: ведьма, горе моё, кровь моя - роди! Ногами бил её, ей-богу! Всю мою силу берёшь, клятая, а что мне отдала, что?

- Всем одинаково, - говорит Савелий упрямо. - Ругать землю не за что, она - права, земля.

- Верно! Только надо это понять, надо её видеть там, где её знают, где её, землю, любят. Это я, братцы мои, видел! Это и есть мой поворот. Началась эта самая война - престол, отечество, то, сё - садись в скотский вагон! Поехали. С год время ехали, под гору свалились... Вот китайская сторона... Смотрю - господи! да разве сюда за войной ездить? Сюда за умом! За умом надобно ездить, а не драться, да!

Он матерно выругался и завыл, подпрыгивая:

- Ребята! Это совсем неправильно, что человек человеку враг... кому я враг?

- Ну, это ты оставь! - крикнул Савелий.

И лесник тоже говорит:

- Это уж не подумавши сказано.

Закрыв глаза, солдат тоскливо поёт:

- Я зна-аю! Ну да, ах господи! Дак ведь это же обман, дурачьё вы! Почему китаец мне враг, а? Ну, почему?

- Конечно, - тихонько шепчет Мил Милыч, - все земные люди о Христе братия...

- Разве они и я - по своей мы воле лютуем? Братцы! Вот что верно: у всех один закон - работа для детей своих, у всех одна есть связь! Есть связь или нет? Есть! Спрашиваю я этого китайца, примерно: "Как работаете, землячок?" А он ответ даёт: "Вот она, наша работа!" Он - смирный, уважительный, здоровенный, китаец-то. И вовсе он не хотел драться, жил тихо, в сторонке, а наши его разоряли - жгут, рубят, ломают, - ф-фу, боже мой! До слёз жалко это! Кабы он захотел драться, он бы насыпал нам сколько ему угодно! Ну, он хоша здоровый человек, но грустный такой, смотрит на всё и думает: "Вот сволочи! и - откуда?" Земля у него - пожмёшь её в горсти, а хлебный сок из неё так и текёт, как молоко у коровы стельной, ей-богу! Ежели китаец добром спросить - он добру научит! Он земле свой, родной человек, понимает он, чего земля хочет, убирает её, как

постелю, э-эх!

- Где же у нас земля? - шепчет Милов. - Нету её...

- На могилу только дано! - вторит ему Савелий.

И словно некая невидимая рука, схватив людей за груди, объединила всех и потрясла - застонало крестьянство, начался древний его плач о земле.

Дымно, парно и душно в землянке, по крыше хлещет дождь. Гудит лес, и откуда-то быстро, как бабья речь, ручьём стекает вода. Над углями в очаге дрожит, умирая, синий огонь. Егор достаёт пальцами уголь, чтобы закурить папиросу, пальцы у него дрожат и лицо дикое.

- Остановить бы их? - тихо предлагает Ваня.

- погоди! Скоро опустошатся! - говорит Егор. - Немножко почадят и погаснут.

Милов подкидывает дрова в очаг и плачет, от горя или дыма - не понять.

- На реках вавилонских тамо седоном и плахом, - грустно шепчет мне Ваня.

А у меня кружится голова, в глазах мутно, и мне кажется, что все мы не в яме под землей, а в тесной барке на бурной реке.

Лесник высоким голосом что-то говорит о своём сыне, Савелий с Миловым ругают крестьянский банк, Кузин громко говорит возбуждённому Алёше:

- Верно, милый, так! Переели господа-то, да и обветшала утроба их в работе над пищей, вкусной и обильной!

И весь этот тревожный галдёж покрывает пропитанный запахом перегорелой водки ревущий голос Гнедого. Он закрыл глаза, размахивает руками, и, должно быть, ему уже всё равно - слушают речь его или нет.

- Я видел порядок, я видел! Кончилось это самое китайское разорение, начали мы бунтоваться - вези домой! Поехали. Три, пять часов едем, сутки стоим - голодуха! Обозлились, всё ломаем, стёкла бьём, людей разных, сами себя тоже бьём - мочи нет терпеть, все как бы пьяные, а то сошли с ума. Вдруг - слушай, ребята! Приехали на станцию одну, а на ней - никакого начальства нету, одни сами рабочие, чумазый разный народ, и вдруг говорят они: стой, товарищи! Как это вы - разве можно добро ломать и крушить? Кем всё сработано?

Задохнувшись, он остановился, глядя на всех удивлёнными глазами. Растрепался весь, точно петух в драке, - все перья дыбом стоят.

Кузин пробует остановить его:

- Рассказывал ты это двадцать раз.

- Стой! Это надо понять! Что случилось? Грозного начальства не слушали мы, а их - послушали! Был беспорядок, суматоха, мятеж, вдруг - нет начальства и все товарищи! Оказана нам всякая забота, едем без остановки, сыты и видим везде - переворот, сами рабочие правят делом, и больше никого нет. Тут мы присмирели - что такое? Говорят нам речи, так, что даже до слёз, мы кричим - ура. В одном месте барыня молодая, в очках, наварила каши, щей - кто такая? Товарищ! И говорит она: всё, говорит, от народа, и вся земля и обилие её - народу, а?

- Михайла! - отчаявшись, кричит Кузин, - да перестань ты, Христа ради! Развёл шум на весь лес - а всё старое, слышано всё!

Солдат так и взвился:

- Да вы этого, сто раз слыша, не поймёте! Каторжники, - ведь это опрокидывает всю нашу окаянную жизнь! Товарищи все, всё дело взято в общие руки, и - больше ничего!

И обращается к нам:

- Ребята, вы-то так ли понимаете?

Этим вопросом он погасил гомон, словно тулупом покрыв его. Снова стал слышен весёлый треск огня, шум дождя в лесу и падение капель воды сквозь размытую крышу.

- Дай мне слово, - шепчет тёзка и суровым голосом старшего говорит:

- Именно вот так мы и думаем, так и веруем: все люди должны быть товарищами, и надо им взять все земные дела в свои руки. Того ради и прежде всего должны мы самих себя поставить в тесный строй и порядок, - ты, дядя Михайло, воин, тебе это надо понять прежде других. Дело делают не шумом, а умом, волка словом не убьёшь, из гнилого леса - ненадолго изба.

Говорит Егор всегда одинаково: громко, мерно, спокойно. Его скуластое лицо никогда не дрогнет во время речи, только глаза сверкают да искрятся, как льдинки на солнце. Иной раз даже мне холодновато с ним - тесна и тяжела прямота его речей. И не однажды я сетовал ему:

- Очень ты строг, тёзка, пугаются люди тебя...

А он, прикрывая кремнёвые свои глаза, объясняет:

- Теперешний человек особой цены для меня не имеет, да и для тебя, наверно, тоже, так что если он слов испугается и отойдёт - с богом! Нам что потвёрже, пожилватей. Для того дела, которое затеяно жизнью, - как выходит по всем книгам и по нашему разумению - самой вселенской хозяйкою жизнью, так? Ну, для этого дела нужны люди крепкие, стойкие, железных костей люди - верно?

Соглашаюсь:

- Верно.

Так и теперь: вытянулись к нему все шеи, все головы, а он точно рубит их словом.

- Дело наше, как известно, запретное, хотя всё оно в том, что вот учимся мы понимать окружившее нас кольцо тяжких наших бед и нищеты нашей и злой да трусливой глупости. Мы, дядя Михайло, понимаем, какой ты сон видел...

- Эх! - крикнул Гнедой, закрыв глаза. - Верно, сон!

- И понимаем, что ты почуял верную дорогу к жизни иной, справедливой. Но однако как забыть, что человек ты пьющий, значит - в себе не волен, сболтнёшь что-нибудь пьяным языком, а люди от того беду принять могут.

- Погоди! - тихо говорит Гнедой, протягивая к нему руку. - Конечно, я пью... Отчего? До войны ведь не пил, то есть выпивал, но чтобы как теперь этого не было! Жалко мне себя! Ударило, брат, меня в сердце и в голову... Но я - брошу вино, ежели что!

Ваня говорит тихо на ухо мне:

- Заворотил Егор...

Вижу, Кузин смотрит на тёзку сердито.

"Плохо!" - думаю.

Алёшка трёт коленки себе и ухмыляется. Никин, как всегда, молчит и словно черпает глазами всё вокруг. Прыгает, играет огонь в очаге, живя своей красной, переливчатой жизнью, напевая тихие, весёлые, ласковые песни. Дует ветер, качая деревья, брызгает дождём.

Мужики сумрачно молчат, глядя на Егора исподлобья. Кольшутся в землянке серые тени, уже не боясь игры огня.

- Вот ты, - продолжал Досекин, - взял привычку на улицах богатых ругать, с этого

они не полопаются, дядя Михайло...

Кузин откашлялся и солидно заговорил:

- Тебе, Егорушка, двадцать шесть годов-то, помнится, а мы все здесь старше тебя
- товарищей твоих не считаю. Говоришь ты однако так начальственно...

- Что ж - вы начальство любите...

- А может, и у нас, стариков, есть чему поучиться...

- Нечему нам учиться у вас, Пётр Васильич...

И оба неласково смотрят друг на друга.

- Так! - обиженно сказал Кузин.

- Да! - говорит Егор. - Чему бы вы поучили нас? В ту пору, когда вся русская земля вскинулась, - где вы были?

- Не поняли мы... - сказал Савелий.

- От вашего непонимания множество людей погибло...

- Оставить бы эти речи! - попросил лесник. - Мы понимаем: ваша правда - та самая, которая всем нужна, чтобы жить...

- Не для ссоры сошлись! - робко кинул Милов.

- Говорить надо про то, что делать и как, - задумчиво и негромко сказал Савелий.
- Я, конечно, человек, лишённый здоровья, жить мне месяцы, а не годы, однако хоть бы напоследок-то поумнее пожить. Бит я загодя без вины, надо бы сквитаться...

Снова заговорил Досекин.

- Никого я обидеть не хотел, а говорил, чтобы поняли вы: дело великое, оно требует всего человека, и мы в этом деле понимаем больше вас; пусть вы старше, мы не говорим, что умнее мы вас, мы - грамотнее.

- Ну да! - крикнул Кузин. - Али мы спорим? Вы говорите планты-то ваши.

Егор указал на меня.

- А это вам тёзка скажет.

Весь этот разговор, близкий ссоре, наваял на душу мне и грусть и бодрость: жалко было мужиков, моргали они глазами, как сычи на свету, и понимал я, что каждый из них много перемолол в душе тоски и горя, прежде чем решиться пойти к парням, которых они помнили бесштаннами. Нравилось мне внимательное и грустное молчание Вани, смущал Авдей жадными глазами своими, и не совсем понятна была опасная прямота Егора.

Заговорил я о плане нашей работы объединения людей и сначала понимал, что хорошо складываются мысли мои, стройно и певуче звучат слова, а потом позабыл следить за собой и всё позабыл, кроме того, во что верую. Смутно, как сквозь утренний туман далёкие звёзды, вижу вокруг себя человечьи глаза, чувствую содеянную мною тишину; очнулся, когда Никин, дернув меня за руку, громко шепнул:

- погоди!

Все люди напряжённо вытянулись к двери землянки, а за нею ясно слышен какой-то шум, лязг, жестяной шорох. Вот она медленно открылась, сгибаясь до пояса, в яму грузно свалился стражник и угрюмо сказал:

- Здорово!

Кузин не вдруг и сердито откликнулся:

- Здравствуй, коли не шутишь!

Лесник подвинулся к очагу, поправил головни. Радостно вспыхнул огонь. Милов сидит на корточках и виновато смотрит на стражника снизу вверх, как собака на коня. Жаль – хвоста у него нет, а то бы вилял, бедняга!

- Это что за совет нечестивых? – глухо спрашивает Семён.

Гнедой рычит:

- А ты бы не ломал комедию-то!

- Тебе что надо? – спрашивает Кузин, звонко и быстро.

- Это ты, Пётр Васильич, народ собрал?

- Ну, скажем, я...

Стоит Семён в тени, осматривая людей невидимыми глазами; на голове у него чёрный башлык, под ним – мутное пятно лица, с плеч до ног колоколом висит омытая дождём клеёнка, любопытно скользят по ней отблески огня и, сверкая, сбегает вода. Он похож на монаха в этой одежде и бормочет, точно читая молитву:

- Значит – разговор у вас идёт... о божественном прение... это ничего, допускается... это не заказано!

Кузин зло ухмыляется и смотрит на него, а Гнедой вдруг кричит, как женщина:

- А ты иди, поезжай, доноси, Иудин сын!

И зловеще хрипит Савелий:

- Худо кончишь, Лядов, продажная душа!

Стражник вскинул голову и глухо сказал:

- Иди-ёты!

У меня тревожно дрогнуло сердце, когда упало это слово, сказанное с великою тоскою. Хрустя клеёнкой, он медленно полез наверх по оплывшим ступеням, угрюмо и громко говоря:

- На мельницу, в шинок, Сашка пришёл и сказал, что вы тут... Я должен знать... кто – где...

Потом уже наверху раздался его сырой голос:

- Н-но... Ну! Дьявол...

И зачмокала грязь под копытами лошади. Тогда все вдруг начали говорить торопливо, смущённо, нескладно...

- Пьяный! – сказал Гнедой.

- Конечно! – подтвердил Савелий. – Из шинка явился.

- Напрасно, пожалуй, обругали его! – улыбаясь, заметил Кузин.

Лесник, качая головой, молвил:

- Нескладный он у вас человек!

- От кого мог узнать Сашка? – строго спросил Егор.

Сашка – это работник Астахова. Алёша виновато объяснил:

- Когда мы с Иваном шли – видел он нас.

- Видел? - переспросил Егор и задумался.

Озлобленно и громко раздаётся голос Авдея:

- Я вам скажу: Кузьма Астахов неотвязный за нами сыск нарядил, и Сашка и Мокей везде про нас спрашивают.

Никин говорит долго, суёт в воздух кулаками, лицо у него гневное. Мужики слушают молча, но, видимо, не верят ему, зная его историю с дочерью Кузьмы.

- Ну, пёс с ими! - воскликнул Кузин. - Эка важность - следят! А вот, обратился он ко мне, - хорошо ты говоришь, Егор Петров! Как псалом прочитал!

Вмешался Гнедой:

- Вот это самое и по железной дороге говорили, слушал я и вспоминал это!

Кузин задумчиво продолжает:

- Может - недостижимо, но жить, веруя в такой мир, - это я понимаю, брат, хорошо с ЭТИМ ЖИТЬ-ТО!

Поднялся Милов и тихонько сказал:

- А не пора ли по домам? Поехал он, этот...

Все засмеялись, кроме Савелия, - блестя глазами и грозя кулаком, он проговорил за один дух:

- Понимаю я теперь, почему они брызжут змеиной своей слюной яростно так, - куда им деваться, ежели народ на такой путь встанет, ага!?

- А расходиться пора! - сказал Егор, вставая с пола.

Савелий спросил:

- Кто здесь останется ночевать со мной?

Милов согласился с ним:

- Тебе по мокро вредно ходить, давай - я останусь.

Замечаю, что лесник смотрит на меня и подмигивает мне на дверь. Что бы это значило?

И остались все, кроме Кузина, меня, Егора и лесника.

Мы вылезли из ямы. Было темно и сыро, как в глубоком колодце. Дождь перестал, но ветер тряс деревья, и с них падали на головы нам крупные, тяжёлые капли дождя.

- Фонарь бы нам! - спотыкаясь, вздохнул Кузин.

- А ещё лучше - карету! - весело заметил Егор. - Архиперееву бы...

Лесник смеётся.

Под ногами быстро текут невидимые ручьи. Тяжело и плотно легла на грудь земли сырая ночь, и пьёт земля животворную влагу, захлёбываясь ею, как ребёнок молоком матери.

- Хорошо, брат, Егор Петров, речи ты говоришь! - ворчит Кузин, качаясь впереди меня и обильно брызгая водой и грязью на ноги мне. - А ты, Досекин, неладно! Ты, милый, нехорошо...

Егор спокойно отмечает:

- Ты, Пётр Васильич, на свой счёт сказанного мною не принимай, я тебя прошу.

- Всё равно! - говорит Кузин, но уже мягче. - Всё равно это, - я, не я.

Лесник дёрнул меня сзади за рукав и шепчет:

- Мне бы поговорить с вами надо...

- О чём?

- Дело есть. Тут сейчас тропа свернёт на сторожку мою - может, зайдёте? С версту всего. А они пускай идут...

Едва слышу его шёпот в шуме воды и шорохе деревьев, невольно замедляю шаг, а Кузин и Егор уже растаяли, скрылись во тьме, нырнув в неё, как рыбы в омут.

- Извините, - толкая меня, говорит лесник, - это и есть поворот... Вы Филиппа Иваныча знавали?

Вздрагнул я, насторожился, молчу.

- Который в город Налим, что ли, сослан был?

- Знал немного, - говорю, а у самого даже ноги дрожат с радости: Филипп-то дорогой мне человек, духовный крёстный мой, старый вояка и тюремный житель. Он и до переворота дважды в ссылке был, и после него один из первых пошёл. Человек здоровенный, весёлый и неуёмного упрямства в деле строения новой жизни.

- Где он? - спрашиваю, чувствуя уже, что друг близко.

- В городе, - тихо говорит лесник. - Он бежамши вместе с сыном моим, и через сына я имею записку его к вам.

- Давайте-ка!

- А как? Она в шапке зашита, да и прочитать здесь нельзя - темно.

Верно, нельзя. Всё вокруг мокро, всё течёт тёплыми потоками, словно тает от радости, всё дышит глубоко, влажно, жадно чмокает и шепчет благодарными шёпотами к тучам, носительницам влаги земной.

- Идём скорее! - говорю.

Мелькнул за чёрными деревьями жёлтый глаз огня, уставился во тьму, прободая её, и дрожит встречу нам, как будто тоже охвачен нетерпением.

Встали у сторожки, осевшей к земле боком, лесник тихо постучал в дверь; чей-то тонкий голос подозрительно спрашивает:

- Кто там?

- Отопри, Еленка!.. Дочь моя, хозяйка она же...

Вошли в сторожку: печь, нары, две короткие скамьи, стол с лампой на нём, книжка на столе раскрыта, и, заслоня спиной окно, стоит, позёвывающая, белобрысая, курносая девочка-подросток.

- Мамоньки, вымокли ка-ак! - поёт она ломким голосом.

- А ты, чем дивиться, самоварко вскипятила бы! - снимая мокрую одежду у порога, говорит лесник.

- Да я и вскипятила.

- Ну, и умница! Вот теперь сухое надеть хорошо, да, кроме штанов, нету одежды-то запасной. Ну-ка не гляди-ка, Еленка, я штаны пересниму...

- Есть и рубаха, высохла, я её на печи посушила, - говорит дочь, бросая ему серый комок тряпья, и озабоченно ставит на стол маленький жестяной самовар,

Лето. Максим Горький gorki.ucoz.ru

кружки, кладёт хлеб, быстрая и бесшумная. Я снимаю сапоги, полные грязи и воды, смотрю на мужика – крепкий, лицо круглое, густо обросло рыжеватыми волосами, глаза голубые, серьезные и добрые, а голову всё время держит набок.

- Что у тебя шея-то, товарищ?

- Мужики, черти...

- За что?

- По должности!

- Больно храбёр! – презрительно усмехаясь, говорит дочь и шмыгает носом.

- А ты – молчи! Я те дам – храбёр! – ласково ворчит лесник.

- Испугалась! – восклицает девочка и смеётся.

- Я те испугаю!

фыркнув, Еленка дружески смотрит на меня, и я тоже смеюсь.

- Приехали трое, – беззлобно рассказывает лесник, укладывая мокрую одежду на пол, – я их, значит, застиг, ну и вышла сражения. Одному я дробью в ноги шарихнул...

- Надо было! – ворчит Еленка, снова неодобрительно фыркая.

- А другой дрючком по башке как даст мне! – продолжает он, ковыряя шапку лапотным кочедыком, – я и грохнулся...

- Что ты шапку-то рвёшь! – кричит дочь, подбегая к нему. – Дай-ка сюда!

- На, на, закричала! Изорвёшь её – чай, она кожаная... Грохнулся я, значит, да шеей-то на сучок и напорись – продрал мясо аж до самых позвонков, едва не помер... Земской доктор Левшин, али Левшицын, удивлялся – ну, говорит, дядя, и крови же в тебе налито, для пятерых, видно! Я говорю ему – мужику крови много и надо, всяк проходящий пьёт из него, как из ручья. Достала? Вот она, записка...

Прочитав записку, смеюсь и спрашиваю:

- Как же это ты, Данило Яковлевич, к народному делу склонен, а, охраняя вражье добро, готов людей убивать?

Он гладит коленки, покачивается и солидно объясняет:

- Давно ведь это было, года за три до поворота на бунт, в то время Васютка ещё в её годах ходил, – он кивнул головою на дочь, а Еленка разлила чай по кружкам и, напрягаясь, режет тупым ножом чёрствый хлеб.

- В те поры и я, как все, младенцем был, никто ведь не знал, не чуял народной силы. Второе – лес я сызмала люблю, это большая вещь на земле лес-то! Шуба земная и праздничная одежда её. Оголять землю, охолодить её нельзя, и уродовать тоже не годится, и так она нами вдосталь обижена! Мужики же, со зла, ничего в лесу не видят, не понимают, какой это друг, защитник. Валят дерево – зря, лыко дерут – не умеючи. Народ всё-таки дикий! Еленка, ты бы шла на печь да и спала...

Она бегаёт острыми глазёнками по страницам книжки, жуёт хлеб и, не поднимая головы, спрашивает:

- Али мешаю?

- Зачем? Секретов нет у нас! А спать пора тебе. Глади – ослепнешь!

Лесник подмигивает мне: он, видимо, хвастает дочерью.

- Ты что читаешь? – спрашиваю я.

- Историю.

- А какую?
- Русскую.
- Чью?
- Учительница дала.
- Нет, кто написал?

Она удивлённо подняла на меня глаза и ответила:

- Человек! А то кто же?
- Она у меня любит книги читать, - задумчиво сказал лесник. - Дух этот новый и её касается. Я смеюсь ей - кто тебя, Еленка, учёную-то замуж возьмёт? А она, глупая, сердится! На днях здесь Ольга Давыдовна была, знаешь, сухопаренькая учительница из Малинок? - так говорит: пришло, дескать, время русскому народу перехода через чёрное море несчастья своего в землю светлую, обетованную - да-а!
- Интересная книжка? - пристаю я к девочке.
- Ничего! Только про царей больше, а про нас - мало.
- Про кого - про нас?

Еленка удивлённо посмотрела на меня.

- Про мужиков. Ка-акой ты непонятливый! - говорит она и сокрушённо покачивает головой.

А отец её ухмыляется вплоть до ушей.

"Что, дескать, срезала она тебя?"

За окном мягко шумит ветер, побрызгивая в стекло крупными каплями. В сторожке тепло, пахнет сушёной земляникой, хвоей и свежим лыком. Пищит самовар, шелестят страницы книги.

- Расскажи про сына-то, - прошу я лесника, - что за человек?

Он поводит плечами, степенно гладит рыжую бороду большой ладонью и довольным голосом рассказывает:

- Человек, конечно, молодой. Мы, видишь, безземельные, ещё отец мой по переселенческому делу от земли оторвался, а я, как себя помню, всё по людям ходил, по экономиям. Отбыл солдатчину, нанялся в лесники. Женился на молодой вдове, мужа у неё - каменщиком был - кирпичом убило на кладке, тюрьму в уезде строили. Женщина хорошая была. В первый же год он и поспел, Васютка-то. Он у меня везде - первый, во всём! У безделья обучился хорошо грамоте и в Константиновскую экономию поступил к машинам - жатки там, молотилки и прочее. А машинист оказался из новых, из ваших.

- Ты уж говорил бы - из наших.

- Ну ин так! Хоша - какой я боец? И грамоту-то едва понимаю. Ну, заметил я - читает Васюк книжки и становится со всеми суров. Спрашиваю куда? Нам, говорит, батя, иного пути нет! Спорили. Насыкался я не раз и бить его, ну, однако чувствую - прав, лиходей! Кое-что и сам понимаю в спорах-то с ним. А тут как раз подоспел переворот в народе, гляжу - Васька везде впереди: он и стачки устраивает, книжки, листочки сеет, речи говорит - уважение ему в народе, даром, что по двадцатому году парень. Ну, думаю, благослови тебя господи, а я - не помеха, да и помешать нельзя уж - поздно! И к чему мешать? Хозяйства у меня нету, стало быть - он свободен сам свою жизнь делать.

Еленка перестала читать и слушает рассказ отца. На её плоском личике задумчиво и неподвижно светятся бледно-голубые глазёнки, и рот полуоткрыт.

Я чувствую, что леснику грустно и всё-таки доволен человек кровью своей: говорит, как заветные драгоценности показывает.

- Мы с нею, - продолжает он, кивнув головой на дочь, - часто про него вспоминаем, любит она его!

- Начнёт он рассказывать про Василья-то, - оживлённо заговорила Еленка, - да и плетёт и плетёт, чего вовсе не было!

Лесник смущённо хохочет.

- Эка подлая девчонка! Гляди, как она про отца-то!

И с тою же смущённою улыбкою на добром лице он говорит мне таинственно и негромко:

- А она верно, Еленка-то: знаете, говорю я, говорю про него, да незаметно как и прибавлю чего-то - поди ж ты! Не к худу прибавляю, а к хорошему - хочется больно хорошего-то, милый человек! Ну - и забежишь вперёд, али грех это? Ведь всё равно - начат иной разбор людям, становится выше цена им! Вот, примерно, Василью помогли бежать, а - путь далёкий, значит, больших денег стоит. Дешёвому человеку не помогут, наверно. Был я у него, ходил в уезд, тайно, ночью - не узнал парня, ей-богу, право! За два года такой стал - вовсе не похож на сына моего, а ласковый, весёлый - чудно всё это! И товарищ его - седой уж почти, а так и прыгает скворцом! Шутит всё и таково ловко да смешно - просто беда! Говорит по-крестьянски, с прибаутками, и столько их у него, будто со всего мира собрал. А весёлые люди - они нужны, мало их, праздничных-то людей, однако - родятся! Хороший народ пошёл, ничего кроме не скажешь! А ежели земля способна такой народ рожать, значит - хорошая она, сильная, земля-то, так ли?

- Верно, Данило Яковлевич! - тихонько откликаюсь я, а в сердце сладко бьётся утренняя, светлая радость.

Когда я собрался уходить, лесник спрашивает:

- Что это за человек стражник-то у вас?

- Не знаю, - мол.

- Чуден! Намедни, ночью, обхожу я лес, а он - как памятник чугунный, стоит на лошади верхом середь поля и стоит. До-олго я глядел на него, потом окликнул. Оглянулся и поехал прочь, видимо, не признал, а ведь часто заезжает сюда, в краулку-то. На словах будто и разумен, а вот глаза у него жуткие - вроде как бы смертное из них глядит.

- Больной он, - говорю.

Ушёл я от них пред рассветом. Иду лесною тропой и тихо пою - нет мочи молчать. Истекла дождём ночь и побледнела, плывут над лесом похудевшие, усталые тучи, тяжело преклонилась к земле вдосталь напоённая влагою трава, лениво повисли ветви деревьев, но ещё бегут, журчат, играют весёлые ручьи, прячась в низинах от близкого солнца, чтобы за день не высушило их оно. Иду не торопясь и думаю:

"Хорошо быть человеком на земле!"

И вдруг, точно искра вспыхнула, вспомнил о стражнике: недавно я узнал, что он ходит около Варвары. Спрашиваю её:

- Верно это, Варя?

Смеётся:

- Есть немножко!

- Что ж ты мне не скажешь?

- А какое тебе дело?

- Как же?

- Ну зачем тебя понапрасну беспокоить! Ну, хрипит мужик, урчит! Рукам я его воли не дам, не бойся! А ты чем тут поможешь? Врага наживёшь себе, больше ничего! Уж делай, знай, своё дело.

Стоит предо мной такая твёрдая вся, прямая, ясно улыбается, и глаза её греют меня горячей ласкою.

После этого собрания повадился ко мне Кузин и сидит, бывало, часа два-три, интересно рассказывая о старине. Мешает, а слушаешь внимательно, оторваться нельзя. Пьёт чай стакан за стаканом без конца, потеет, расстёгивает одежду до ворота рубахи и вспоминает горькую старинку, страшную в простоте своей русскую мужичью жизнь. Неустанно гудит его крепкий, привычный к речам голос. Надо сказать, что, когда мужик тронется влево сердцем и умом, он немедля начинает говорить о себе как об известном бунтаре.

- Господи! - кричит, - как этого нам не понимать, ежели мы исстари бунтовались! В восемьдесят пятом году нас пороли - десятого, в девяносто третьем - пятого, четверо из нашей деревни сосланы в Сибирь! Отец мой трижды порот, дед - и не знаю сколько!

И так занесётся до пращура, вспоминая все порки и ставя их как бы в заслугу себе, словно солдат ордена, за храбрость ему данные.

Иногда, слушая эти истории, с досадой хочется сказать:

"Дяденька, жизнь не тем местом строят, терпением которого ты хвалишься!"

Накануне переворота, в девятьсот пятом году, выступал я на митинге на одном, в богатом селе, так после моей речи крестьянство - старики распаясь, кричат:

- Мы-ста! Милый, ты ученый - вспомни, где Разин основался? У нас! За него, Степана Тимофеича, сколько нас было повешено-побито, тысячи! Пугачёво дело тоже не миновало нас: вон они, наших бойцов могилки, гляди, вон на бугре-то! Долгорукий князь тьму нашего народа замучил, перебил, в реку покидал!

А вскоре они, подлые, погром устроили у себя - учителя побили, доктора, молодых парней некоторых, чайную сожгли, библиотеку.

Битый человек драться любит, дадут ему палку - мать, отца не жалко, лишь бы зло сорвать.

Кузин тоже оказался исконным бунтарём.

- Вы, молодёжь богова, конечно, сильнее нас, потому что имеете широкий план, для всех приемлемый...

Алексей ворчит:

- Ну, не совсем для всех...

Старик редко замечает Алёшу, он не смотрит на его зловещую, как у выпя, ночной птицы, сжатую с висков голову, не видит насмешливый, немного кривой нос, всегда подстерегающе вытянутый вперёд.

Похваливая настоящее, он продолжает хвастаться прошлым.

- А и мы, старые головни, тоже, бывало, светло горели! Мой род, примерно, издревле бунтовщицье гнездо-то! Мальчишкой будучи, помню, рассказывали мне, как начальство скиты наши за Волгой зорило, а подростком видел я свирепое дело - лежащий бунт.

- Ка-акой? - изумлённо воскликнул Алёша, озорниково играя карими глазами.

- Причину того бунта не помню, только - отказались наши мужики подать платить и землю пахать, в их числе дядя мой и отец тоже. Пригнали солдат, и началось

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

великое мучительство: выведут солдаты мужика-то в поле, поставят к сохе – айда, работай, такой-сякой сын! А народ падает ничком на землю и лежит недвижно...

– Эт-то бунт! – ухмыляется Алёшка.

– Поднимут мужика, поставят на ноги, а он опять валится. Так и отлежались. Отец мой помер от побоев-то, а дядя – Корнеем звали, могучий был мужик – навсегда здоровья лишился и тоже недолго прожил – года два али три. Оба они были из главных водителей, им больше других и попало.

Отвернулся старик, смотрит в окно, и жёлтый череп его кажется мне зеленоватым. Полная тёмных воспоминаний, за окном медленно проходит от востока на запад тихая ночь.

– А тебя, Пётр Васильич, тоже били? – серьёзно и смущённо спрашивает Алексей.

– Всех, молодец, били! И баб тоже! Насильничали солдатишки над ними. Девочек-то перепортили почитай что всех. Была после этого на селе у нас великая скорбь, и днями летними люди жили, как зимнею ночью: все, до крови битые и кровно обиженные, прятались друг от друга, – зазорно было видеть скорбные человечьи глаза-то!

Алёша визгливо и скверно ругается и возится на лавке, как пойманная щука на горячем песке. А старик, вздыхая, перевёртывает одну за другой тяжёлые страницы своей жизни.

– Тогда и решил я бросить крестьянство, предался, значит, учению, да всей моей природы книга не могла одолеть, по женской части был я очень жаден, господи, прости! Думаю, что это у меня больше с горя, с тоски, чем от развратности: книгу-то читаешь – оно хорошо, высунешься на улицу – ад безобразный! Ну и хочется человека, милого взгляда, доброго слова, а кроме женщин – у кого ласку найдёшь? Да и ей, бабе нашей, ласка-то – как живая вода мертвецу. Теперь вот всё иначе становится, и даже девицы как будто другие от вашего малого внимания к ним – не то они умнее, не то злее, бойчее, что ли... Думать надо, что и они себя покажут.

– Без рубах! – ворчит Алёша. Потерпев у Вари неудачу в исканиях своих, милейший мой парень женоненавистником стал.

– Да, ребяташки, нам, старикам, больно заметно, что всё ныне сдвинулось с местов, всё стягивается в одну-две линии: семо – овцы, овамо козлицы, или как там? Понуждает жизнь человека искать определения своего! Вы это поняли, и вот – тянет за сердце меня, старого, к вам! Вспоминаю я свою молодость – ничего нету, кроме девочек, да баб, да побоев и увечий за них!

Алексей допрашивает:

– А как ты начётчиком-то был?

Старик смеётся холодным смехом, словно битое стекло в горле у него.

– Так вот и был! Хожу, значит, по богатым домам, нищий около сытых, да говорю им про бога, ради страха ихнего и утешения; как бы коновал я при них – дурную кровь спускаю. Народ-от больно уж сволочь, и очень явно это, что сволочь! Вчера ещё был наг и бос, яко и аз, грешный раб, а сегодня глядишь: сыт по уши, кобенится, кичится тугим пузом, жадничает! Торговля, конечно, сёдни – при гроше, завтра – в барыше, и, глядя по притоку пятаков, то вспомнит бога, мерзец, то позабудет, еретик! А ты его – поучай, а поучение – для утешения, а на кой мне ляд утешать его, коли он – грязное место для меня? Каркаешь, бывало, устрашающие слова и видишь – не страшно жуликам! Живут, как мухи в патоке, довольны, сыты, одеты, тепло им, покойно, только смерти и боятся, а она – далеко! И захочется нестерпимо разворошить весь дом, ну и начнёшь, бывало, бабёнок смущать – они благополучию главная основа-то.

Поглядываю я на Алексея – как он это принимает. Опасаюсь, не посмеялся бы над стариком, но Алёшины острые глаза смотрят строго и серьёзно, губы плотно сжаты, и всё лицо – как топор. Холодно, со скрытой и сейчас готовой зазвенеть насмешкой льётся высокий голос старика.

- Мужик-то я был ничего, приятный, здоровый, женщину привлечь особых трудов не испытывал, ну, а сдаётся она - тут и пошёл дому развал! Зол был человек, уподобился неясности пустынному! Бивали меня, конечно, ногу вот капканом пересекло, потом в больнице отрезали её...

Алёша тихонько говорит из своего угла:

- А однако, видно же, и потерпел ты на веку своём!

Старик, прищурясь, посмотрел в его сторону и отозвался:

- Да, не пожелаю никому, даже и недругу...

И с той поры они стали смотреть друг на друга поласковее.

Однажды в праздник сидели мы под вечер полной компанией на любимом нашем месте у реки, над заводью, где вода, подобно ревнивой любовнице, жадно и настойчиво подмывает берег, кружится и течёт, как бы сама против себя, обнажая корни лип, осин и берёз.

Место это тем для нас хорошо, что с него видно деревню, все дороги за рекой, так что мы сразу замечаем, кто куда идёт. И если покажется нам что-нибудь неладное, за нами - лес, перед нами - брод.

Собрались поговорить о Гнедом: больше месяца после собрания в землянке прошло, и всё не пил солдат, а в последнее воскресенье хватил горькой слезы и устроил скандал: пошёл по улице, как бездомный храбрый пёс, изругал Скорнякова, Астахова, и отвезли его в волость под арест.

Было это так: в полдень после обеда вышел я с Алёшей на улицу - надо было нам Кузина повидать, он в город собирался идти - вдруг слышим трубный голос нашего приятеля:

- Эй! Скорняков! Где ты, уважамай? Вышел бы на улицу-то, показал бы миру бесстыжие свои зенки, мироед! Али и ты, грабитель, стыд имеешь, боишься, видно, людей-то, снохарь?

- Надо его остановить! - говорит Алёша. - Ты не ходи, я один лучше.

- Не будет толку! - сказал я. - Увидит он тебя, да повернёт его мысли в опасную сторону, может плохое выйти для нас.

Алёша согласился, и мы стали издали следить за воином.

Дом Скорнякова высокий, на каменной подклети, солдат стоит перед ним, задрал голову так, что шапка на землю упала. В доме мечется кто-то юркий, перебегая от окна к окну. Из дворов на улицу спешно сыплются мужики, бабы, ребятишки послушать солдатова клятё, а он ревёт:

- Выглянь хоть в оконце-то, Иван Захарович, покажись, почтенный человек, мы тебе всем миром в глаза плюнем!

Старуха Лаптева, крестясь, нагнулась, подняла шапку Гнедого и, заботливо отряхнув с неё пыль, встала сзади солдата. Сгруживается вокруг него народ - все весёлые, подмигивают друг другу, ворчат, довольные скандалом, науськивают Гнедого.

- Ловко чешет!

- Так его... Иуду!

- Пленник, не жалея языка!

- Кричи, китаец!

Стоит над деревней в жарком небе золотое солнце и ослепительно смеётся.

Лето. Максим Горький gorki.ucoz.ru

- Расскажи, вор, нам, миру, - рубит солдат, - сколько ляпинскому управляющему хабары дал, когда аренду перебил у нас? Поведай, по чьей милости Шишлина семья по миру пошла, Легостевы с голоду издыхают, Лаптев Григорий ума решился? Эй, старое базло, много ли аренды берёшь за тайный шинок на мельнице на твоей? Выходи, что ли, против правды бороться, что трусишь, прячешься, кощей проклятый! Ну, поспорим, давай, ворище, вылезай!

Подходят к солдату мужики, постепеннее которые, и, остановясь сзади него, озабоченно вполголоса подсказывают:

- Про Феклушку, про работницу-то, крикни, не забудь!

- Когда приговор был винную лавку убрать, он её отстоял - потому в его доме она!

В стороне жмётся Савелий и покашливает - точно ворон каркает, ожидая падали. Вихрем крутятся ребяташки, визг стоит в воздухе, свист, хохот, и всё покрывает сильный голос Гнедого. А старушка Лаптева, мать умалишённого Григория, стоя сзади солдата, держит его шапку в руках, трясёт головой и шевелит чёрными губами.

И когда солдат переходит под окна Кузьмы Астахова, она торопливо семенит за ним, маленькая, согнутая вдвое, одетая в рубище.

- Эй, Кузьма, кособокая кикимора! - гремит солдат, напрягая грудь. Иди сюда, вот я раздену, оголю пакостную душу твою, покажу её людям! Приходит вам, дьяволы, последний час, кайтесь народу! Рассказывай, как ты прижимал людей, чтобы в Думу вора и приятеля твоего Мишку Маслова провести! Чёрной сотни воевода, эй, кажи сюда гнусную рожу, доноситель, старый сыщик, рассказывай нам, миру, почём Христа продаёшь?

- Ну-у! - бормочет Алёша, - поехало!

- Вали, Гнедой, - распаяясь, орут мужики, - говори за всех, мирская душа! Жги его, горе наше...

Того и гляди, начнут стёкла бить у Астахова.

Но Кузьма ростом мал, да сердцем храбр: вот с треском распахивается окно, высунулась, трясётся острая змеиная головка, мелькает маленький, тёмный кулачок, и тонкий, высокий голос старика яростно визжит:

- А-а-а, опять пришёл, пьяница, китаец, изменник отечества!

Солдат безумеет, слыша эти слова, вытягивается кверху, взмахивая руками над головой.

- Молчать! Кто - отечество? Это ты, сукин сын, отечество моё? Это за таких вот воров, как ты, солдат лямку трёт, чтоб тебя розорвало поперёк живота! Ты миру ворог, ты смутьян и крамольник, вы правду сожрали, землю ограбили, людей уничтожаете!

- Врёшь! - воет старик, так что его вёрст на пять кругом слышно. Человек он жидкий и треплется в окне, как лохмотья на огородном пугале в ненастный, ветреный день.

- Народ! Кого слушаете? Хватай его! Зови стражника, Марья! Мокей! Сашка - сюда!

Народ молчит, у избы Астахова все стоят угрюмо, как осенняя туча, две трети села в кабале у Кузьмы, и в любой день он любого человека может по миру пустить. Только старуха Лаптева, не разгибая спины и странно закинув голову вверх, что-то неслышно шепчет, и трётся в толпе Савелий, сверкая глазами, хрипит, кашляет, дёргает людей за локти, поджигая сухие, со зла, души.

Они, Астаховы, впятером жизнь тянут: Кузьма со старухой, Марья и сын с женой. Сын Мокей глух и от этого поглупел, человек невидимый и бессловесный. Марья, дочь, вдова, женщина дебелая, в соку, тайно добрая и очень слаба к молодым парням - все астаховские работники с нею живут, это уж в обычае. Надо всеми, как петух на коньке крыши, сам ядовитый старичок Кузьма Ильич - его боится и семья и

деревня.

- Православные! - трубит солдат, указывая кулаком в окно. - Это вот для них, богатеев, гоняют нас вокруг земли, ради их льётся мужицкая кровь...

- Не подступиться к нему! - соображает Алёша, стоя рядом со мной. И беспомощно оглядывается.

- Для того, чтобы они каждый жрали щи с убоиной...

Савелий медленно сбоку подвигается ближе к окну, а в руках у него палка.

- Ой, дьявол! - шепчет Алёша и, побледнев, бросается к больному.

А Кузьма, высунувшись до пояса, режет воздух диким визгом:

- Аа-а-а-а! Вот оно, вот слова! Ну, Мишка, кончена твоя жизнь! Каторга тебе, а-а-а! Народ! Которые слышали - держи его! Измена! Россия, кто понял, держи его! Против России сказано! Вот - этот человек против России...

Но тут народ хохочет - всем ясно, что старик пустил слово огромное и неуместное в его душе.

- Ну-ка, ещё двинь про Россею-то, Кузьма Ильич! - задорит кто-то старика.

- А ты бы, Гнедок, Россею-то не шевелил!

- Укрепляй, Кузьма, Россею!

- Астахов поддержит, он жилистый!

А старик всё кричит и кричит шальные слова, и они носятся в воздухе, как летучие мыши.

Из ворот выплывает тёмным облаком заспанный, тяжёлый стражник, лениво подходит к солдату, люди нехотя раздвигаются, и вот остался Гнедой один, только старуха Лаптева с шапкой в руках стоит у него за спиной.

- У меня крест есть! - кричит солдат, топая ногами.

- Брось орать! - хмуро говорит стражник.

Гнедой отмахивается:

- Отстань!

- Иди, иди! - хрипит стражник, подталкивая солдата к сборне, где холодная.

Старуха Лаптева, трясая головой, молча протягивает Гнедому шапку, он берёт её, взбрасывает на голову и, медленно шагая впереди стражника, ревет:

- Пошёл бы ты к чёрту, мутная рожа! Стыдился бы, продажная душа, ворову руку держать! А ещё - солдат! Солдат защитником правды должен быть, а ты кто? Скотина немая!

Семён молчит. Кто видел его лицо в такую минуту, говорят - страшное лицо.

Народ, ухмыляясь, расходится по домам. Идут кучками, говорят неслышно и уже никакого интереса к Гнедому не показывают.

А над деревней всё ещё вьётся злой и тревожный крик:

- Перебить, перевешать, а-а-а!

Этот скандал мы и обсуждали, собравшись на реке.

Егор Досекин курит, заглушая едким дымом своего табачища вкусный запах грибной сырости, и спрашивает:

- Что же ты, тёзка, распускаешь эдак безобразно паству твою?

Никин тоже смотрит на меня строго, недовольно.

- Провалит нас Гнедой скандалами своими! - говорит он, хмурясь. - И к чему озлобление разводить промеж людей?

После того, как они достаточно пробрали меня, я начал было объяснять им, что солдатовы речи не так уж вредны и опасны, как им это кажется, но Егор сердито отклонил мои слова.

- Нет, тёзка, так не годится! Хоть и мужичок ты, но давний, и мы деревню знаем лучше тебя, мы ведь не сквозь книжки глядим. Верно то, что есть, а не то, чего тебе хочется, по доброте твоей души. Мужички наши поболтать любят, послушать резкое слово тоже любят, но всего больше нравится им своя до дыр потёртая шкура.

Всё чаще говорит он со мной в таком роде, и не один он, правду сказать. Я это понимаю: мало знаю я для них, и они почти уже вычерпали из меня всё, что я мог им дать. И есть между нами какая-то разница, мало понятная мне: для меня слово имеет душу мягкую, гибкую, а они говорят речью обычною, а влагают в слова смысл иной, неясный мне. Вернее сказать, берут они слово и начинают пристально раскрывать его, разматывать, добываясь того, что заложено в корне. Всё у них выходит крепче моего и хотя жестковато, обнажённо, но ясно и стройно, это я вижу, вижу и рад, что они так быстро переросли меня. Что ж - я своё дело сделал, что имел - отдал, идут они куда нужно, если ж я не успеваю за ними - это не обидно мне.

Алексей сказал однажды:

- А ты, Егор Петров, с народом-то запутался!

- Да-а, это, брат, никак не единое существо! - подхватил, усмехаясь, Егор Досекин. - И всё меньше единое! Выдел нам показывает это в полной наготе.

Ваня, тихонький и мягкий, как всегда, возражает им:

- Братцы, ведь это только наружно так, как трещина на посуде, а посуда-то из одной глины.

Алёха смеётся:

- Ну вот, по тем трещинам и развалится она в куски, битая твоя корчага! Нет, Ванька, надо тебе хороших книжек почитать, а то больно елею намазано на тебе!

А Егор мне говорит:

- И тебе, тёзка, надо бы посушиться, слышь!

Кончив пилить меня за Гнедого и Савелия, приступили к разбору очередных делишек. Авдей Никин недели две ходил по округе в поисках работы и рассказывает:

- В трёх местах жил, и везде одинаково содомит деревня, стонет, бьётся - ходит по телу её острая пила и режет надвое. Говорил я с некоторыми мужиками о выделе, так сначала они, как бараны перед новыми воротами, пучат глаза, а потом воют, зубами скрипят.

На его красивых губах дрожит грустная усмешка, брови хмурятся, голос звучит устало. Мне кажется, что чем дальше, тем всё быстрее вянет этот большой, складный парень, снедаемый каким-то червем.

- В Оленеве Святухин Иван первый дело раскусил: кричит, как ушибленный, - глядите, что с нами делают! А Звягин Фёдор привязался ко мне - откуда я это всё знаю? Позвал к себе ночевать, пришёл к нему и Святухин, да ещё Митьков, у которого в городе сына убили. Прямо и спрашивают - с партионными знаешься? я говорю - что же, разве самому мужику нельзя этого понять, а всё только по указке, со стороны? Не верят! Нет, говорят, врешь! Мы вот кои веки живём, а однако до сего дня не поняли, понять не могли, что такое делается, да и теперь

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru
бы не догадались, что на наших костях богатую деревню строить решено. Всю ночь проговорили – ну и мается народ! Смотришь – сердце ноет...

Досекин искоса взглянул на него и крикнул.

Алёша крепко трёт руками голову.

– Газету бы нам иметь! – жарко вздыхает он.

– И печатать в ней обо всём! – подхватывает Ваня. – Как в настоящих столичных, а не как в листках!

– Нн-да-а, – тянет Авдей, – листки эти не совсем подходят, злобно очень пишутся они...

– Интеллигентов бы нам парочку хороших! – говорит Досекин, скручивая папироску.

Мне хочется сказать ему о Филиппе – я уже трижды виделся с ним и сыном лесника, но что-то смущает меня, и, не решаясь обрадовать товарищей, я говорю только два слова:

– Интеллигенты будут.

Егор вскинул голову, посмотрел на меня, прищурил глаза, и, сразу повеселевший, чётко заговорил, что нам надо требовать в городе помощи книгами и людьми, что нужно привести в известность все какие есть кружки молодежи в окрестных местах.

– Впряжём в ходоки по этому делу Кузина. Самый удобный человек. Только надо будет ему денег дать на дорогу, обеднел старик.

Ваня, наш казначей, говорит:

– Денег мы имеем 7 рублей 49 копеек.

Меня Егоровы слова не удивили, – в ту пору Кузин уже много сделал нам разных услуг, – но Алёша спросил:

– А не рано Кузина вводить в дело?

– Ничего! – твёрдо сказал Егор. – Я к нему присмотрелся за это время сильно обозлён старичок; он друзьям своим будет портить делишки как только может, это верно!

Авдей тяжело возится и медленно говорит, прикрыв глаза:

– Место ли злобе в нашем деле-то? И то устал народ со зла, право!

Кремнёвые глаза Досекина вспыхивают, он сурово отвечает:

– Когда нас будут тысячи и миллионы, мы без злобы возьмём за горло кого надо. А чтобы эти мысли выросли на такой трудной земле – навозом брезговать не приходится, и жалеть его нет причин, так-то.

Идут по небу облака, кроют нас своими тенями, в серых волнах плавают и прячутся светлая луна. Шуршат деревья, тихо плещет вода, лес и земля ещё дышат теплом, а воздух прозрачен по-осеннему. За деревней, у мельниц, девки песню запели – их крикливые, сухие голоса издали кажутся мягкими и сочными, как свирель.

Ваня, разобрав, что поют, тоже затянул вполголоса эту песню, мы пристали к нему и задумались, поём. Вдруг вижу я: на бугре около хлебного магазина стоит стражник, лезут на него облачные тени, и является он между ними то светлый и большой, то тёмный и маленький. Видно, слышит он наше тихое пение – лёгкий ветер от нас на него.

Замолчали. И следим, не двигаясь. Ваня тихонько говорит:

– Жалко мне его за что-то...

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Жалко! - тотчас вскипел Алексей. - Высчитывает человек, почём за голову людей продать, не ошибиться бы, - а ты жалеешь! Тюря с квасом!

- Бросьте, ну вас! - сказал Егор. - Вон Кузин прыгает около огородов, это он нас ищет, думаю. Конечно - сюда правит!

Качаясь, размахивая полами длинного кафтана, старик подошёл к нам и сейчас же заговорил, незаметно для нас усвоенным голосом начальника:

- Под вечер завтра к леснику придут мужики из Броварок, трое, насчёт Думы желают объяснения. Вы сначала Авдея им пошлите: парень серьёзный, язык-то у него привешен хорошо, и деревенскую жизнь до конца знает он. А после него - Алексея, этот озорник даже камень раздражить может, а потом уж кого-нибудь из Егоров, для солидности. Вот так-то - к людям надо осторожно подходить-то, а не то, что после скобеля да топором. Вы смотрите, как я вам народ сгоняю, а? То-то!

Снял шапку и гладит голый череп, отдуваясь, довольный собою, оглядывая нас по очереди хитрыми глазками.

Мы трое - я, Ваня и Егор - давно решили выспросить старого начётчика о боге - как он верует и верует ли? Нам казалось, что у него была с богом некая тёмная распря, видимо, мало понятная и самому старику. Говоря о боге, он всегда как бы требовал возражений наших, но сначала никому из нас не хотелось спорить с ним по этому вопросу, и, не встречая наших возражений, он всегда почти сам же срывался на противоречия себе. Рассказывает, например, о злых ухищрениях сатаны в споре с господом за власть - и вдруг скажет что-то чуждое строю мыслей своих.

- А вот, - таинственно звучит его голос, и глаза разбегаются по всем лицам нашим, зоркие, цепкие глаза, - однажды ехал я, ребяташки, по Каме и разговорился с одним сибирским жителем, лошадьми барышничал он, и скажи он мне: "Сатаны - нету!" - "как так?" - "нету! А есть, говорит, князь подземного мира - Адам, первосозданный и первоумерший человек, и - больше никого нету!" - "Постой, говорю, Адам быша изведён из ада Иисусом Христом?" - "Нисколько, говорит, не изведён, а остался в преисподней. Это, говорит, записано в одной древней индейской книге, мой знакомый бурят" - буряты, народ вроде мордвы - "бурят, говорит, книгу эту читал и тайно мне рассказывал, как было: сошёл Иисус во ад и предлагает: ну, Адам, выходи отсюда, зря отец мой рассердился на тебя, и сидишь ты тут неправильно, а настоящее по закону твое, человек, в раю. Нет, отвечает Адам, не хочу, не уйду отсюда, - у вас, дескать, в раю-то все равно святы, а у меня здесь - все равно грешны. Я, говорит, тыщи лет не напрасно здесь сидел, мною тут установлена настоящая справедливость, не как у вас на небе и земле. Так и не пошёл!"

Смотрит на нас старик острым взглядом, рассыпались его искристые глаза и скрытно смеются.

- Нет, что выдумывают люди-то, а?

Таких рассказов у него был неисчерпаемый запас, и, видимо, все их создало отчаяние мысли человеческой, неспособной помириться с двоебожием пагубным, ибо оно разрывает душу, лишая её целостности. И, рассказывая такие сказки, старик всегда понижал голос до глухого, как бы из-под земли исходящего шёпота.

После одной из таких бесед, когда ушёл Кузин, Алёша, запустив пальцы рук в свои вихрастые волосы, задумчиво сказал:

- По-моему, он - провокатор!

- Полно, - говорю, - лёнька, неужто не видишь, что человек искренно приобщается к нам?

- Нет, я не в том смысле, что выдать хочет, это уж пора бы!

И Алексей беззаботно махнул рукой.

- Мне, видишь, кажется, что не верит он в бога, а один не верить боится, вот и подстрекает всех к тому же, ища себе поддержки. Он мне нравится, интересный, ей-богу! Да и смел, старый чёрт!

Алёша радостно хохочет.

- Эх, с ёлки иголки! Всё тронулось, всё пошло к месту!

В тот вечер, после того как переговорили о делах и усталый Авдей ушёл спать, Ваня прямо и мягко, как только он один и умеет, сказал старику:

- Давно мы трое хотим спросить тебя, дядя Пётр Васильич, как ты о вере думаешь?

- О какой? О православной?

И, не ожидая ответа, как по книжке читает:

- Это есть вера денежная, вся она на семишниках держится, сёдни свеча, да завтра свеча, ан поглядишь и рубаха с плеча - дорогая вера! У татар много дешевле, мулла поборами с крестьян не занимается, чистый человек. А у нас: родился - плати, женился - плати, помер - тащи трёшницу! Конечно, для бога ничего не должно жалеть, и я не о том говорю, а только про то, что бог - он сыт, а мужики - голодны!

Шутит старичище, посмеивается, и смех его скрипит нехорошо, как пробка по стеклу.

- А ты с богом дружно живёшь? - спустя голову, спрашивает Ваня.

Кузин смотрит на него ласковыми глазами, смотрит на Егора, на меня, как бы молча измеряя и сравнивая нас, потом беззаботно говорит:

- О чём же мне с ним спорить? Ничего у меня нет да и не было, делить нам нечего!

- А ты Иова книгу читал?

- Как же не читать! Давно только...

Тихо вокруг нас. Зажигаются в небесах звёзды, играют с ними облака, скрывая и открывая звёздный блеск. И тихо звучит Ванин голос:

- Помнишь, как спрашивал Иов: "Почто же господа утаишася часы, нечистивии же предел преидоша, стадо с пастырем разграбивше? Под яремника сирых отведоша и вола вдовича в залог взяша" - словно вчера сказано!

- Ишь ты! - восхищается старик. - Наизусть знаешь, а-а!

Голос его звучит неискренно, мы слышим это, и, видимо, он понимает, что слышим, дёргается весь, беспокойно и быстро.

- И ещё, - вспоминает Ваня, - "почто нечестивиц живут обветшаша же в богатстве?.."

И вдруг, неожиданно и странно для нас, Кузин тихо, ворчливо вторит:

- "Домове их обильнии суть, страх же - нигде, раны же от господа несть на них..."

Тряхнув головой, он поднимает её и смотрит в небо, и, как бы вспоминая, медленно, громко и с упреком в голосе говорит:

- "Воистину - не вем, како сие уразумети имам, егда суть дела лучшая вавилонская, нежели сионская". Это уж из Ездры книги! Спрашивали... да!

Ваня потихоньку разгорается:

- Ангел Уриил отвечает ему: "Понеже земля добра дана вам есть..."

- Дана! - ворчит Досекин, крякая.

- "И море волнам своим дано есть: так иже обитают на земли, только вещи наземные

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru
разумети могут..." Почему же, дядя Пётр, дано нам разуместь только вещи наземные?

Кузин хлопает себя длинными руками по коленям и хохочет, заливаясь, дрожит весь, даже слёзы сверкают на глазах у него.

- Чего захотел, а! - сквозь смех покрикивает он. - А помнишь, Уриил-то как сказал: "Не спеши быть выше высшего!" А? "Ты бо всеу тщишься быть выше его". А?

Спокойно и ровно Ваня отвечает:

- Сего-то я и не принимаю за справедливое, ибо - должен спешить, срок жизни краток, и он же требует от меня полного разума хода её...

- Ну и Ваня! - восклицает Кузин. - Куда ведь заглядывает, а?

Светлым ручьём льётся молодой голос. Ваня встал на колени. Не велик он ростом, но складен и силен. Его задумчивое лицо робкого, испуганного жизнью человека изменяется, освещаясь светом изнутри.

- И не хочу я быть выше его, но законы его хочу, должен понять почему дела вавилонские лучше пред ним яко сионские?

Иван побледнел и напрягся, как молодая берёза, насильно склонённая вершиной к земле.

- Почему мы отданы в тяжкий плен злым и ослеплён народ вавилонянами нашими и подавлен тьмою, тысячью пут опутан угнетённый - почему? Создан я, как сказано, по образу и подобию божиему - почто же обращают меня во зверя и скота - нем господь? Разделился мир на рабов и владык - слеп господь? Подавлен врагами, в грязь и ложь брошен народ - бессилен господь? Вот я спрашиваю - где ты, вездесущий и всевидящий, всесильный и благой?

Освещённое луною лицо юноши горит яркой краской, строгие серые глаза неотступно требуют ответов и сверкают изумрудными искрами. Нам - мне и Егору - радостно видеть его таким, мы взволнованы, зажжены его огнём, внимательно слушаем строгую речь, а старик громко, усиленно дышит, сморкается, и на его маленьких глазах блестят слёзы.

- Страшные речи говоришь, Иван, - начинает он, кивая головой не в лад словам своим, и голос его вздрагивает, ломается, руки ищут чего-то, быстро шаря по земле, шуршат песком.

- Страшные речи, да! Бог - есть, Ваня! Бог должен быть, ибо нет народа небоженного.

Он потирает грудь себе и краткий миг молчит, глубоко вздыхая.

- Не сладко, ребятушки, на старости лет говорить мне так, а скажу истину-правду, надо вам её знать, понимаю я; скажу, признаюсь - верую в господа вседержителя мира сего, но - лика божия не зрю пред собой, нет, не зрю! И ежели спросить бы - рцы ми, человеце, како веруеши? - что по чистому сердцу отвечу? - Не вем! И многие тысячи так-то ответят, коли по чести сердца захотят отвечать. Вы подумайте над этим, это надо понять!

И, подняв руку, он грозит нам, объятый тенью набежавшего облака.

- Должен быть бог един для всех, коли всеми чуется: стало быть, не Аллах, не Кереметь, а почему же Саваоф? Тот бог настоящий и верный, у которого люди хороши, а чем мы, христиане рекомые, лучше татар, чуваш, мордвы и других иноверных народов? Я, может, десять раз сквозь все инородцы прошёл, я знаю их: все одинаково безобразно живут, и мы - не лучше, нет! Татары же, это всяк знает, в деле гораздо честнее нас. Как же быть? Евангелие божие опровергнуто, и пророки опровергнуты в утверждениях своих, а в сомнениях доселе крепки! Да! Говорят - потому мы лучше, что у нас Христос!

Он оглянулся, помолчал и спрашивает, тихо, со скорбью:

- Где же он, Христос-то, в жизни нашей? Начало любви и кротости - где он? Не

вижу, детки! Почему не вижу? Ослеплён ли дьяволом или здоров излишне?

Замолчал. И всё круг нас задумалось с нами вместе, только тени тихо гладят усталую землю, истомлённую за лето обильными родами хлеба, трав и цветов. Холодной тропею уходит в лес река, то тёмная и мягкая, то белая, как молоко.

- Страшные, Ваня, думы! - снова тихо говорит Кузин. - И опоздал я, чай, думать их - а думаются! Чем мы, крестьяне, богу виноваты? Грешим друг против друга? Ну-ка, проживи лет хоть с двадцать по нынешнему времени, да не согреши! Против его грешим? Все законы его - для людей, стало быть - все грехи против людей! Первую-то заповедь мы не рушим, идолов не строим! А если всемогущ - так и уничтожил бы всё зло жизни, соединил бы людей в добре, для всех явном! А то - бросил в трясины и приказывает - не тони, гляди, в ад пошлю!

Он успокоился уже и снова говорит, как всегда, полушутя и хитро поблескивая глазами.

- Н-да! - воскликнул Досекин. - Это всё требуется разобрать. Вот, кабы ты, Пётр Васильич, собрался с силой, да и написал бы книжечку обо всём этом, рассказал бы думы-то свои, а мы бы её тайно напечатали да пустили в люди, то-то бы задумался народ, ух!

- Где мне, Егорушко, - смеясь и махая рукой, отказывается старик, разве я могу? Понимать - понимаю: приобщить людей к таким мыслям - это их разбудит, это поднимет! Да писать-то я не горазд, вовсе не умею, можно говорить.

- Эх, жаль! Ну, тебе бы, Вань, всех этих пророков, которые посмелее, тоже связать бы в один пучок, да тоже бы в книжку! А то эти разные секты наши - Марьиная вера, Акулькина вера - одна путаница!

И мечтает далее, освещаемый нашими улыбками.

- Вот как вырастем мы числом, да затеем газету... В ней всё будет! И тебе, Ваня, все церковные дела поручим - готовься!

- Я учусь! - скромно говорит Ваня и от радости становится как бы прозрачным. - Мне бы вот книгу о соборах вселенских надобно, как выбирались епископы на соборы эти, от чьего имени устанавливали каноны и вообще - как всё это делалось?

А Кузин, качая головой, говорит:

- Видно, что наделаете вы делов, дай вам бог помощь! А что же в гражданских книгах пишется на этот счёт, а?

Досекин сказал, проводя рукой над землёю:

- В наших - отрицается!

- Совсем?

- Совсем!

Старик, сомнительно поджав губы, подёргал себя за бороду.

- Ну, это резко больно! Уж не знаю... Не сгоряча ли это, а?

- Ты почитай, погляди!

- М-м... Надо будет поглядеть... Да ведь непонятно, чай?

- Попробуй! - ласково говорит Егор.

- Надо будет попробовать!

После этого Кузин усилил свою беготню по округе, исчезал, неожиданно появлялся и говорил:

- Вот хороший мужик, к вашему хору подходящий. А то вот ещё. И вот тоже.

Людей он брал чутьём и редко ошибался в них; почти все его знакомые были так или иначе задеты за душу горем и обидами последних лет, и все они, видимо, понимали, что жить так, как жилось, – больше нельзя.

– Я вам буду настоящим ловцом человеков! – хвастался Кузин и сожалительно восклицал: – Мало больно вас, грамотеев-то, не хватит во все места!

– Ну, – ворчал Егор, – это он, пожалуй, и через меру суетится! Нам всех не выучить, нам бы настолько отцов тронуть, чтобы они детям не мешали, – вот и всё!

А недостаток наших сил сказывался всё яснее: летние работы кончились, по утрам уже раздавалась дробная, весёлая музыка цепов, народ, несколько освободившийся от труда, рвал нас во все стороны.

Уставший за лето, изработавшийся Авдей похудел, осунулся и как-то всё более увядал, становился скучен и небрежен. Алёша был занят с подростками и едва успевал удовлетворять их запросы, злился, ругался, а Ваня – плохой нам помощник: он как бы замер на своём деле – религии и церкви. Только Досекин ломит, как лошадь, умея не спать ночи по три кряду, бегая из деревни в деревню, читая газеты и журнальные статьи о Думе мужикам, которых собирал Кузин. Егор усердно читал "Свод законов", "Положение о крестьянах", книги по земельному вопросу и, видимо, очень успел в понимании этих мудростей.

– Ну и законы же! – говорил он. – В них человеку – как рыбе в бредне, куда нос ни сунь – везде петля!

И плевался, озлоблённо жалясь:

– На что приходится время тратить, а! Эх, кабы поучиться мне, почитать бы хороших книг!

Вдвоем с ним или порознь я сживал в овинах и лесных оврагах, рассказывая мужикам то, что знал, посильно отвечая на их вопросы о выделе, о ходе думских заседаний, о том, как поставлено земельное дело в других государствах, какие права имеет там крестьянство.

Однажды собрал нам Кузин человек с двадцать народу, сошлись мы в глухом лесном овраге, куда в старину, бывало, ходили охотники стеречь, как папоротник зацветёт. Порыжел, пожух папоротник, затоптанный и смятый мужиками, сели они на нём тесной кучей, как большие, серые, озябшие птицы. Круто поднялся вверх тёмный суглинок, изорван оползнями и осыпями, усеян разноцветным, мёртвым листом. Кое-где по горе криво стоят тихие берёзки и осины, а наверху, на краю оврага, растёт могучая сосна, выдвинула над нами широкие, чёрные лапы и покрыла нас, как шатром. И чуть видно сквозь него зеленоватое небо осени, безмерно далёкое от нас. Тихо, темно, сыровато и холодно. Тенькают синицы, бьёт дятел, шуршит, бегая по стволам, поползень, опадая, шелестят листья, и мерно, точно кузнец гвозди, отбивает Досекин острые, холодные слова.

– Не на кого больше опереться начальству, и затеяло оно подкупить некоторых, кто позажиточнее, да и спрятаться за спиной у них от судьбы...

Мужики неподвижны, точно комья земли; головы подняты кверху, невесёлые глаза смотрят в лицо Егора, молча двигаются сухие губы, как бы творя неслышно молитву, иные сжались, обняв ноги руками и выгнув спины, человека два-три устало раскинулись на дне иссохшего ручья и смотрят в небо, слушая Егорову речь. Неподвижность и молчание связывают человеческие тела в одну силу с немою землёю, в одну грудку родящего жизнь вещества.

Изредка раздаются негромкие голоса:

– Стряхнуть, значит, нас с земли решено у них!

– Ежели кредиту не дадут – дело это не выйдет!

Высокий, худой мужик, сверкая зелёными, как у голодного кота, глазами, густо говорит:

- А с кредитом твоим что будет? Забыл про маломочный-то народ? Он те даст кредит!

Кто-то, хихикая, вставил:

- Нам и кредит вредит!
- Да и где их взять, денег!
- Монастыри оберут!
- Для тебя? Жди!

Егор прерывает свою речь, выслушивая замечания, и снова долбит головы, ища живого мозга.

- Поймите, что выходит: все, значит, плати подать, а некоторым начальство будет подать эту давать в долг, и эти некоторые на наши-то грошки скупят землю да и обратят всех нас, маломочных, в батраков себе.

Закачались мужики, как лес под ветром.

- Та-ак...
- Стало быть, целую деревню придушить для пятерых?
- Началось это, братцы! - тревожно звенит высокий голос. - Глядите которые по городам живут, землёй не пользуются, они уж наделы-то свои продавать начали!
- Запретить!
- А как?
- Паспорта не выдавать!
- Верно! Пускай оборотятся к нам да поживут от земли!
- Верно здесь сказали - всякое увеличение прибýtка за чей-нибудь пай!
- А конечно! Земля-то кругла, говорят...

И всё чаще слышен тревожный вопрос:

- Что будем делать?

Большой, солидный мужик в крепком полушубке встал на ноги, сняв шапку с головы, и степенно говорит:

- Затеено это всем во вред, православные! Вот я, скажем, имею земли до двадцати десятин и могу купить ещё, ничего - могу! Однако - не куплю, потому - опасно! Первое - никому не известно, что будет, значит, как народ решит, второе - купи-ка я теперь, так вы меня со свету сживёте...

Слышен одинокий, сухой смех, и как будто крякнул человек тихонько или заскрипел зубами. Мужичьи тела шевелятся в темноте, сдвигаясь плотнее, трутся друг о друга. И шелестят подавленные голоса:

- Прямо говори - половину народа сорвёт эдак-то с земли!
- Братцы! Как же бог, али - не видит?
- Некоторые, конечно, всплывут, что говорить, ну, а мир... мир расколется!

Большой мужик всё стоит спустя голову и треплет в руках шапку.

- Нет, православные, - громко говорит кто-то, - хошь не хошь, а пришло нам время самим шевелить мозгами. Видно, что за нас никто не встанет, а против нас - как есть всё!

Я шепчу Егору:

- Ишь как...

А он вслух и громко говорит, прищуривая глаза и оглядывая слушателей:

- Слова делам редко верные товарищи! Говорить можно всяко, а втайне здесь каждый думает быть "некоторым".

Замолчали мужики. Только один, невидимый, со смешком пробормотал:

- Всем в "некоторые" не попасть, не-ет!

- Что будем делать? - тоскливо спрашивает молодой голос.

- Говори! - шепчет мне Егор.

Говорю. И вся груда человеческих тел молчит, не дышит, жадно слушая новую речь, иногда вдруг пошевелится тяжело, охнет, забормочет и снова замрёт. Лица в сумраке овражном почти не видно - только мутные, круглые пятна и тусклый блеск глаз. Сомкнулись люди, навалились друг на друга, подобно камням, скатившимся с горы; смотришь на них, и овладевает душою необоримое желание сказать им столь большое и огненное слово, кое обожгло бы их, дошло горячим лучом до глубоко спрятанных душ и оживило и заставило бы людей вздрогнуть, обняться в радости и любви на жизнь и на смерть.

Бывало это - плакали люди и смеялись и, расходясь по домам, пели новые песни, шли в обнимку, точно жаркого вина выпили, позабыв деление на друзей и врагов. Великое и живое это дело - слияние людей в общезначимом для всех и для каждой души необходимом!

Редко спрашивали меня - кто я таков, а один раз, когда некто из них осведомился, чем занимаюсь, другой тут же с упрёком остановил его:

- А ты не видишь - чем?

На многие их вопросы приходилось отвечать:

- Этого не знаю я, братцы!

И такой ответ приближал их ко мне более всего - сразу люди становились откровеннее и доверчивее.

- Из простых будешь? - спрашивают.

- Да, не из мудрых!

- Ну и ладно!

- Как и сами мы!

Ласково улыбаются, хлопают по плечам; иной раз какой-нибудь чудака скажет:

- Спасибо, браток, за поученье, очень нам в пользу это!

И выходит так, как будто искреннее незнание сопрягает людей крепче, чем лицемерное и командовать желающее знание.

Общаясь с ними, чувствую всё глубже и крепче, что сорвалось старое с корней своих и судорожно бьётся, умирая, бессильное по тяжести и ветхости своей удержаться на земле, ныне уже враждебной ему. Новых сил требует земля наша, отталкивая от груди маломощное, как невеста влюблённая жениха, неспособного оплодотворить измученное неумелыми ласками, плодородное, могучее и прекрасное тело её.

У меня не было времени пристально заняться самообразованием; я человек, образованный разгромом народного восстания, взявшийся за дело объединения людей

Лето. Максим Горький gorkijmaxim.ru

по непобедимому влечению сердца и по ясно видимой мною невозможности жить старым, пагубным для человека порядком. Социалистические брошюры начал я читать всего за год до переворота жизни и будущее понимаю, а в настоящем – разбираюсь с большим трудом, прошлое же русской земли – совсем тёмное дело для меня; тут, пожалуй, Егор больше знает, чем я. Считаю себя рядовым делателем жизни, как бы землекопом, который скромненько роет канаву под фундамент предположенного судьбою к постройке собора справедливого разума и красоты духовной. До разгрома был знаком с партийными людьми обеих партий, а после восстания, когда все рассеялись и частью погибли, остался один, потеряв связи с партиями и зная только некоторых, сочувствующих делу, так сказать любителей, а не артистов.

Теперь, когда явился Филипп Иванович, настоящий двигатель жизни, и я рассказал ему о ходе местных дел, было решено, что он останется в городе, добудет денег, откроет торговлю чем-нибудь, возьмёт Алёшу приказчиком себе и примется за устройство газеты для нас. А Василий, сын лесника, уехал в губернию, к рабочим.

Рассказы Алёши и мои о работе нашей увлекли в дело учительницу с братом её, оба стали они помогать нам усердно, всё больше добывая книг, внимательно следя по газетам за всем, что было необходимо нам знать.

В Гнездах мы старались держаться незаметно, – кроме Алёши никто не работал в нашей деревне, а он свои чтения вёл осторожно. Боялись мы: деревенька маленькая, всё становится сразу известно улице. Расслоилась она, словно напоказ: Астахов со Скорняковым – первые люди, с ними рядом Лядов, брат стражника, – наша чёрная сотня, люди сытые, но обеспокоенные за богатство своё: за свой горшок щей они хоть против бога; за ними, сверху вниз идя, – степенное крестьянство, работяги и авосьники, ломают хребты над высосанной и неродимой землёй, и всё ещё говорят:

– Авось, бог даст, как-нибудь поправимся!

И всего бегут, прячутся, желая только тишины и мира, а в делах тянут, конечно, с богатыми. Из этого ряда – Егоров отец, мужик смирный, испуганный, растрёпанный. Вторую очередь ходит в старостах, не умея по кротости своей отбиться от этой чести. Егор – плохой помощник ему, да и помогать-то не в чем: земли у них десятина с четью – разоряется Досекин вместе со многими. Потом шатается со стороны на сторону голец, бедняк, обессиленный, крепко злой, ни во что не верующий и запьянцовский народ: им, главное, угоститься бы вином, и за стакан – они идут на всё.

А в стороне – подростки, человеки всё больше серьёзные, хмурые, вдумчивые, они нутром понимают силу грамоты и на отцов смотрят косо, неодобрительно.

Дружки Кузина не великие помощники нам. Мил Милыч, хлопая глазами, всё больше молчит, иной раз вдруг и не в пору тихонько смеяться начнёт, а чаще всего просительно ноет:

– Уж вы, милые, порадейте за мир-от Христов! И на веки вековечные запомнит он имена ваши добрые...

Алёша, конечно, издевается над ним:

– А ты, Милов, чего ждёшь? Делать тебе нечего на земле, бери кружку, айда по миру и собирай на памятники нам! Только гляди, чтобы мне – конный! Другие как хотят, а я желаю верхом на чугунном коне в веках сидеть! И чтобы надпись золотом: на сего коня посажен деревнею Большие Гнезда Алексей Дмитриев Шипигусев за добрые его дела вплоть до конца веков!

Тихий мужик сконфуженно улыбается, молчит, жмётся и одёргивает рубаху свою слабыми руками.

А Савелий – тот, сверкая большим горящим взглядом, хрипит:

– Бить! Они бьют...

Спросишь его:

– Чего же можно достигнуть боем?

Крутит головой и, задыхаясь от кашля, говорит:

- Нету у меня иного слова на вашу речь, нету! И скоро помирать мне, а хочется видеть, как вздрогнет мясо на их костях, хочется слышать, как их хрящи затрещат!

Тут он весь. И это - страшно! Но уж немного осталось этого человека на земле, да скоро и остатки свои он кровью расплюёт.

Смотришь на него и горестно думаешь:

"Сколько народу изувечено, разбито, озлоблено - за что? Какая это жизнь? И как не стыдно людям терпеть её, не бороться с ней!"

С Гнедым же случилось неожиданное и смешное событие. Приходит он ко мне, смущён весьма, сидит, ёжится и - растерянная улыбка на тёмном лице.

Вижу я - одёжа у него починена, заплатами покрыта, а штаны совсем крепкие - это необычно!

Некогда было мне, и я тороплю его:

- С каким делом, дядя Михайло?

Разводит руками и начинает:

- Не знаю, как и сказать! Видишь ли, режу я вчера вечером лозняк на верши, вдруг - Марья Астахова идёт. Я будто не вижу - что мне она? "Здравствуй", - говорит, и такая умильная, приветная. "Здорово, - мол, бесстыдница!" Ну, и завязался разговор. "Какая, дескать, я бесстыдница, ведь не девка, а вдова, муж, говорит, у меня гнилой был, дети перемерли, а я женщина здоровая, тело чести просит, душа ему не мешает".

Почесал солдат переносицу, смотрит на меня исподлобья и спрашивает:

- Верно она сказала?

- Ничего, - мол, - хорошо.

Оживился, осмелел и продолжает:

- Вот и я думаю - верно! Ведь коли баба свободна и по своей охоте к парню идёт - почему это грех? Та же милостина - парню-то где взять? И лучше ещё, а то - девку бы испортил. Ну, слово за слово, вижу я - чего-то нужно ей от меня, а сказать она не решается, смотрит ласковой кошкой и... и всё такое. "Тебе чего надо-то?" - говорю. А она - заплакала, стоит против меня, и слёзы из глаз у неё, как сок из берёзы. "Буду, говорит, просить тебя, Михайлушка, не позорь ты батюшку по праздникам, сделай милость! Гляди-ка, ночей-де спать старик не может, мотается по избе и всё ворчит и ругает всех: поп - лентяй, урядник - вор, становой - грабитель, до земского вплоть изругает всех и ревет, да так ревет, что жутко! А спросишь - что ты, батюшка? Кричит - прочь, позорище моё! Тебя с Мокейкой ради - куда я жизнь свою спустил, в чём мне радость, где покой? Кто мне защита? В зверях живу! Кабы силы мне, топором бы изрубил я вас, окаянных, пагуба вы моя, съели вы меня! Страшно, говорит, мне, Михайлушка, да и жалко его - отец ведь!" Я говорю: "Так ему и надо!" А у самого сердце ёкнуло, не то с радости, не то от другой какой причины.

И снова мнётся солдат, сконфуженно ёрзая по скамье, не смотрит на меня.

- Видишь ты, Егор Петров, знаю я это, как ночами от обиды не спится, тяжело это человеку, брат! Конечно, мне Кузьму нисколько не жаль, а при чём тут женщина эта? Однако и на неё позор падает - за что? Не сама она себе отца выбрала...

- В чём же дело-то?

- погоди! я тебе по порядку объясню.

И, виновато посмеиваясь, объяснил: улестила его Марья, приласкала, не может он теперь отца её обличать.

Говорю ему с досадой:

- Да я тебя три месяца уговариваю, чтобы ты бросил эти скандалы!

Он тихо говорит:

- Верно, три! А всё-таки будто измена!

- Кому?

- Правде!

И вдруг прояснел солдат, хлопнул ладонью по скамье.

- Время-то, Егор Петров, а? Бывало - всяк человек, лёжа на печи, как хотел, так и потел, а ноне, не спрося шабра, не решить тебе ни худа, ни добра - верно?

Рад, хохочет.

Рассказал я об этой беседе Егору, а он, дымя злейшими корешками своими, сквозь зубы ворчит:

- Ну, и дешёв народишко!

И, помолчав, добавил:

- А прибаутка верная - и здоровым, и хворым пришло время жить хором! Знаешь - и тут кусок пользы мы найдём. Если это решится, что Варвару Кирилловну в город, в типографию нашу, кухаркой или женой определим, самое милое дело тайник наш устроить у Астахова. Теперь ясно, что Гнедой в работниках будет у него, для того Сашку и прогнали.

- Ошибаешься ты, пожалуй? - говорю я, сомнительно покачивая головой.

- Я? - тихо воскликнул Егор, сощуривая кремнёвые глаза. - Я, брат, на год вперёд все эти дела и поступки вижу, уж поверь!

Улыбаясь, он продолжает:

- Нет, перенести склад Кузьме в дом - это и приятно и безопасно: Мокей неграмотен, Марья не выдаст, а сам старик не найдёт - надо, чтобы не нашёл, это уж Гнедого обязанность.

- Говорят - избил старик Марью за связь с солдатом, - сказал я.

Егор равнодушно пояснил:

- Куда ему людей бить! Слаб уж, не может. Был в силах, так сына в дураки забил и оглушил на всю жизнь. Это Мокей колотил сестру, по отцову приказу, но он, глухой, сильно бить не смеет, боится Марьи, она сама его треплет, когда ей не лень. Видел я её сегодня - она шла с Варварой Кирилловной капусту рубить, - ничего, хохочет.

Пристально и задумчиво глядя на меня, он говорит:

- Всё это не важно, тёзка, всё это дребедень. А вот замечаешь ты или нет, что Авдей у нас всё больше сучает?

- Да, заметно.

- То-то. А не кажется тебе, что не по пути ему с нами?

Я не сразу ответил.

- Нет, будто бы не кажется.

- Будто бы?

Досекин усмехнулся, помолчал и снова тихо повторил:

- На год вперед все дела вижу, да... От этого в сердце у меня будто смола кипит иной раз.

На скулах у него появились желваки, он протянул сквозь зубы:

- Понимаю я, что должны мы быть самые спокойные люди на Руси - не завтра наш праздник, не через год и не через десять лет, понимаю! Дела эвон сколько! Вся Россия - это как гора до небес вершиной. Да... Да, брат, всё это я понимаю и спокоен. Только боюсь - не убить бы мне кого!

Мне стало боязно за него, и жуткое коснулось сердца.

- Ты что? - спрашиваю, подходя к нему.

Но он уже оправился и заговорил мягче, с улыбкой в глазах:

- Спокойные люди - силища! О, господи, как мне всегда умиляет душу слесарь этот, убитый на лесной. Вспоминаю о нём, и - всего меня приподнимает изнутри: вот - умер человек, а я питаюсь его силой и живу! Вижу все: приходят солдаты к нему, зовут - пойдём! "Это, спрашивает, вам и приказано убивать меня?" Не смеют ответить, а? "Жалко, говорит, вас, что, молодые ребята, начинаете вы жизнь свою убийством. Идёмте!" Застрелили они его. Какой народ! Даже обругать неохота таких. На третий день с одним из них сидел я в трактире - совсем разбитый человек: кобенится, лается, а глаза мёртвые. Спился он, наверное. А то - удавился. Видно было, что нельзя ему жить, - померла душа.

- Что с тобой, Егор? - снова спрашиваю я. Он встрепенулся, встал.

- Ничего. Так. Вспомнилось. Ну, ночью я иду в город; говори, что надо, пора мне.

И ушёл, спокойный.

Дней через десять я сидел поздно вечером с Варварой, рассказывая ей о древних русских народоправствах во Пскове и Новгороде, вдруг - топот на дворе, в сенях, и входит Досекин с Авдеем.

- Добрый вечер! - здоровается Егор, спокойно и громко. - Помешали мы? Извините, коли так! Вот, у Авдея - новость.

Никин бросил в угол шапку, пригладил волосы и, оглянув комнату, просит:

- Ты, Варвара Кирилловна, помолчи о том, что я скажу...

- Покланяйся, может и помолчу! - недружелюбно отвечает Варя.

Он сел, согнулся вдвое, локти на коленях, голова между ладонями зажата, потом выпрямился, вытянул ноги, плюнул на пол.

- Ты рассказывал бы, - предлагает Егор, закуривая.

- Дело такое, - глуховато начал Никин, - узнал Кузьма Астахов, что Марья живёт с Гнедым... Я, Варвара Кирилловна, потому сказал - помолчи, что дело это не общественное, а моё, видишь ты...

Варя удивлённо посмотрела на него и молчит. Егор держит перед лицом папироску и, осторожно сдувая с неё пепел, говорит:

- Кузьма зовёт его в зятя.

- Вот! - кратко сказал Авдей и смотрит на меня, растерянно улыбаясь. Его серьёзное, красивое лицо осунулось, поблёлкло, глаза налились томной мутью, и сквозь неё из глубины сверкают незнакомые мне искры тайной радости, страха или злобы - не пойму я.

- Рассказать с начала? - спрашивает он Досекина. Не отрывая глаз от своей

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru
папиросы, тот равнодушно говорит:

- Как хошь!

Авдей встал - он показался мне вытянувшимся ещё больше за эти дни.

- Вчера в обед иду я около избы, а он меня позвал...

- Позвал... - неопределённо повторил Егор.

- Ей-богу - сам позвал! - воскликнул Никин и поднял руку, как бы желая перекреститься.

- Я не спорю! - говорит Егор. Он качается и тихонько посвистывает сквозь зубы.

Никин сел в угол, в тень, и оттуда неровно течёт его крепкий голос, нескладно идут осторожные слова.

- Хворый он, Кузьма Ильич, хилый, видно, умрёт скоро. "Желаю, говорит, я, чтобы ты обвенчался с Настасьей". - "Ты, мол, желаешь, а я не могу - чем кормить мне её?" Говорили мы с ним долго...

- Долго... - повторяет Егор, кивая головой.

- Да! И он перечисляет: Мокей-де не хозяин, да и бездетен, Машка всё с любовниками промотает, а имущества у меня много...

- Много... - эхом отражает Досекин вкусно сказанное слово.

Варя, кусая губы, жмётся к моему плечу, и мне тоже смешно, грустно и стыдно.

Авдей снова встал на ноги.

- Ты не смейся, пожалуйста, Егор! - просит он вздрагивающим голосом. Ты пойми - мочи моей нету жить так! Когда-то что будет у вас, а жизнь идёт!

- Она идёт! - уверенно говорит Егор. - Она, брат, ни минуты не стоит, жизнь!

- Да! А Настя - в городе. Устал я, изголодался! Мать эта у меня - надо понять, братцы! Человек не скот, терпения у него мало!

- Ты рассказывай, коли хочешь, - предлагает Егор.

А Авдей медленно жуёт вялые слова:

- "Не связала бы её нечистая сила с тобой, говорит, была бы она замужем за хорошим человеком..."

- А ты чем не хорош? - тихо спрашивает Варя. - Он верно рассчитал - в твоих руках ничего не пропадёт.

- Он это тоже говорил, - подтверждает Авдей, - парень, дескать, ты трезвый, умный, мужик настоящий...

Егор тем же голосом продолжает:

- "Товарищей своих крамольных брось, иди лучше к нам, мироедам..."

Никин спохватывается и растерянно бормочет:

- "Остаётся, говорит, у меня одна Настасья, а кроме её - никого". И плачет. Я, братцы, понимаю, но - я решился...

Он стоит среди горницы длинный, угрюмый, с растрёпанными волосами.

- Вы подумайте - будут у меня книги, то есть деньги, будут и газеты у всех, книг купили бы, школу бы построили и - хорошего учителя при ней... Вы поддержите меня! А не будете вы мне верить - и я себе верить не буду!

- Пожалей его! - шепчет мне Варя.

- А теперь, - тянет Никин, - выдел этот... Двоит он человека...

- Брось-ка ты эти речи, Авдей! - говорит Егор, закуривая снова.

Но Авдей, должно быть, не всё рассказал и продолжает бессвязно:

- Плачет - для кого работал полста лет! Для чужого человека! Избу хочет нам ставить отдельную, земли даст пять десятин, пару лошадей, корову...

Он взмахивает правой рукой, пальцы на ней растопырены и загнуты крючками - это неприятно видеть.

- Я говорю - довольно уж, Авдей! - нехотя сказал Досекин. - Что у тебя будет и что будет с тобой - потом увидим.

Он встал, подошёл к нему вплоть.

- Не знаю, как другие, а я плохо верю в дружбу сытого с голодным, и ты лучше не обещай дружбы, эта ноша не по силам, пожалуй, будет тебе. Не обещай! А обещай одно: держать язык за зубами всегда, и ныне, и во веки веков. Вот это...

- Братцы! Егор! - воскликнул Авдей, странно топая ногами.

- Подожди!

- Мы с тобой товарищи измала...

- погоди! - тихо и твёрдо остановил его Досекин. - Ты запомни - если благодаря твоему языку хоть один человек когда-нибудь...

- Егор Петрович! - плачевно воззвал Никин. - Обидно мне...

И Варя шепчет:

- Жалко его...

А мне - не жалко.

Душа моя окутана сумраком и холодна. Глажу тихонько Барину руку, молчу, смотрю на лицо Егора и чувствую, как тяжело ему говорить.

- Ты понял, что я говорю?

- Эх, Егор!

- Пойми! Я тебе грозить не стану - зачем грозить? Ты знаешь меня, знаешь, что я упрям, задуманного не брошу, не доведя до конца. Вот и весь разговор!

Никин изломанно опустил на лавку и, вздыхая, ворчит:

- Обидел ты меня... а за что?

- Я не обижал тебя, нет! - говорит Егор, помахивая шапкой. - Я, брат, знаю - в эту минуту ты себе веришь. Только я уж не первый раз слышу такие речи и обещания, бывало это: выпадет человеку жирная кость, примется он глодать её и одичает. Было это!

- Увидишь! - пообещал Авдей и, помолчав ещё, тише добавил: - Я теперь несколько отойду от вас...

Егор опустил голову, тихо сказав:

- Конечно!

"Сейчас это кончится", - облегчённо подумал я. А по щекам Вари текут слёзы.

С минуту молчали. Потом Никин пробормотал:

- Он скоро умрёт, тогда увидите, как я...
- Ну, - молвил Егор, заглушая эти слова, - пожалуй, время спать!

И надел шапку.

Авдей Никин медленно поднялся на ноги, стал прощаться. Сжимая мою руку обеими своими, он просительно сказал мне:

- Разговори его, Егор Петрович, чтобы он верил мне!
- Ладно, - ответил я.

Мне показалось, что глаза его радостно заблестели, когда он увидел Варины слёзы.

Он ушёл, не спеша и с большим усилием отрывая от пола отяжелевшие ноги.

Егор остался и тотчас будто бы весело заговорил:

- Ну, дорогие товарищи, мне тоже надо идти, устал я сегодня...

Я взял его за руки, молча посмотрел в глаза; усмехнулся Егор и опустил голову, сильно встряхнув руки мои.

- Крепок же ты характером! - говорит ему Варя с ласковым уважением и удивлённо, с грустью, шепчет:

- А он-то, Авдей, раскис, размяк, ай-яй! Вот те и Авдей...

Вздыхнул Егор и, отведя глаза в сторону, смущённо, негромко ворчит:

- Я про эти его дела давно знаю, врёт он, что Кузьма его соблазнил, врёт, шалыган! Всё я тут знаю, только стыдно мне было сказать тебе, тёзка, про это, стыдно, понимаешь, нехорошо!

И, сильно потрянув головой, он снова крепко пожимает мои руки, говоря:

- Люблю я людей, которых не одолевают все эти коровы, лошади, телеги, хомуты, - у настоящего свободного человека всё - внутри, и когда он выберет чего-нибудь снаружи, так уж это будет самое лучшее, я про тебя сказал, тёзка, и про тебя, Варвара Кирилловна, - от души! А больше ничего не хочу говорить - ну его ко всем чертям! До свиданья, друзья...

Лицо его хорошо загорелось, глаза стали невиданно мною мягки и лучисты, он ушёл, весело засмеявшись, а мы остались, счастливые его лаской, и долго и тихо говорили о нём, с грустью любуясь человеком, задушевно гадая о судьбе его.

- Какой надёжный он, какой крепкий! - не раз задумчиво сказала Варя, и хорошо было слышать похвалы ему из её уст.

Эти двуличные, печальные и смешные дела быстро забывались нами в торопливой работе, всё более широко разгоравшейся с каждым днём. И всё ярче пламенели вокруг нас леса в пёстрых красках урядливой осени. Уже дня по два и по три кряду над округой неподвижно стояли серые, скупые облака, точно смёрзлись они над землёю ледяным сводом, холодно думая - не пора ли одеть её в белые одежды снега?

Утешали нас с Егором Алёша и Кузин: между ними наладилась какая-то особая дружба, бранчливая, насквозь прошитая взаимными издёвками. Всё чаще замечаем мы, сходятся они вдвоём, вместе путешествуют в город и с глазу на глаз, очевидно, иначе говорят, а при людях обязательно задевают друг друга и насмешничают, словно конфузясь своей дружбы.

Вот однажды шли мы все четверо - я, тёзка, Кузин и Алёша - с одного большого собрания крестьян, устроенного стариком в лесу, уже раздетом почти до последнего листа. Прояснился день к вечеру, а с утра был лёгкий заморозок - лист под ногами

Лето. Максим Горький gorki.ucoz.ru

хрустел и ломался, как стеклянный. Шли на запад, сквозь чёрную сеть сучьев был виден багровый закат усталого солнца, на душе у нас тоже было красно и празднично – собрание вышло хорошее, дружное, говорили мы все четверо по нескольку раз и, должно быть, хорошо тронули крестьянство. Было народу уже человек около сорока, да ещё не все пришли. Это первый раз собрали мы всех знакомых нам мужиков, устроив как бы смотр им, и впервые видели воочию, что работа наша не пропала да и не пропадёт теперь.

– Эк вы гоните! – побряхтывая, крикнул Кузин. – Мне, хромому журавлю, этак-то не поспеть за вами! Отдохнуть бы!

– Поживёшь и без отдыха! – ответил Алёша.

– Это я тебе могу сказать, а не ты мне, дерзила! – упрекает старик.

А Егор то мурлыкает песню, то посвистывает и, не глядя под ноги себе, спотыкается.

Смешно он ходит, Егор, – глаза у него вёрст за десять вперёд смотрят, а ногами он так действует, точно в гору лезет.

Шутя и насмешничая, вышли на опушку, Алексей кувыркнулся на землю, катаясь по ней, сгрёб кучу цветных листьев, кричит:

– Садись, ребята!

И, толкнув, повалил на листья Кузина.

– Гляди – картина: закат солнца в деревне Большие Гнезда! Вход бесплатный!

Кузин, делая вид, будто не понял Алёхиной любезности, ворчит:

– Городские эти полоротые мальчишки...

Сели, смотрим – деревенька наша как парчой и золотом на серой земле вышита. Опускается за рекой могучее светило дня, жарко горят перекрытые новой соломой крыши изб, красными огнями сверкают стёкла окон, расцветилась, разыгралась земля всеми красками осеннего наряда, и ласково-сине над нею бархатное небо. Тихо и свежо. Выступают из леса вечерние тени, косо и бесшумно ложатся на нас и на звонкую землю сдвинулись мы потеснее, для тепла.

– Хорошо! – вздыхает Алёша. – А вот в губернии хаживал я на выставки картин – двадцать копеек за вход – и вижу однажды – картина: из-под мохнатого зелёного одеяла в дырках высунулась чья-то красная рожа без глаз, опухла вся, как после долгого пьянства, безобразная такая! В чём дело, думаю? Гляжу в книге-каталоге: закат солнца! Ах ты, думаю, анафема слепая, да ты и не видал его никогда, солнца-то!

– Да-а... – задумчиво тянет Кузин, – и солнце люди разно видят...

Алёша оживлённо продолжает:

– А иные картины сильно за душу берут! Вот, примерно, нарисовано поле, и промеж хлебов лежит прямая-прямая дорога в мутную даль, ничего там не видно! Воз оттуда едет, и девица или женщина идёт; лошадевка мухортая, голову опустила, почитай, до земли, глаз у неё безнадёжный, а девица – руки назад и тоже одним глазом смотрит на скотину, измученную работой, а другим – на меня: вот, дескать, и вся тут жизнь моя, и такая же она, как у лошади, – поработаю лет десяток, согнусь и опущу голову, не изведав никакой радости...

– Это в книжке написано? – спросил Егор.

– Нет, это сама картина говорит!

Досекин уже окутался дымом и сам кашляет от крепости его.

– Ишь ты! – говорит старик, покачивая головой. – Не пускай ты на меня адову эту вонь! Деревья сохнут от неё!

- Не терпишь, кулугур, православного табаку? То-то! Архирейский аромат! - гордо заявляет он и, недоумевая, продолжает: - А я вот никогда картин не видал, то есть в книжках видел. В книжках оно помогает понять написанное, а вот отдельно - не знаю! И даже не понимаю - как это можно нарисовать красками, а я бы понял без слов? То есть сколько я не понимаю на земле! Даже сосчитать невозможно!

Алексей возится и говорит уверенно:

- Увидишь - поймёшь! Я часто на выставки ходил, в театр тоже, на музыку. Этим город хорош. Ух, хорош, дьявол! А то вот картина: сидит в трактире за столом у окна человек, по одеже - рабочий али приказчик. Рожа обмякла вся, а глаза хитренькие и весёлые - поют! Так и видно - обманул парень себя и судьбу свою на часок и - радёшенек, несчастный чёрт!

- Сейчас - чёрт! - укоризненно замечает Кузин. - Не можешь ты без него, как поп без бабы.

Алёша задорно смеётся.

- Чем поп чёрта хуже - оба одному служат!

Егор, помолчав, спрашивает Алёшу:

- К чему же это приводит?

- Что?

- Да вот - лошадь, пьяный! Я это знаю, видел раз тысячу! Ты мне напиши, чего я не знаю, не видал, - коли пишешь!

Алёша подумал, потом убеждённо говорит:

- Видишь ли, и я видел и пьяных, и лошадей, и девиц, конечно, только это особая жизнь, иначе окрашена она! Не умею я объяснить... Ну, вот, скажем, девицы - эту зовут Марья, а ту Дарья, Олёна... А на картине она без имени, на всех похожа, и жизнь её как будто оголена пред тобой - совсем пустая жизнь, скучная, как дорога без поворотов, и прямо на смерть направлена. Трудно это объяснить...

Досекин попытлся папиросой и сказал:

- Да, невразумительно говоришь!

Сидя рядом с Кузиным, я слушаю краем уха этот разговор и с великим миром в душе люблюсь - солнце опустилось за Майданский лес, из кустов по увалам встаёт ночной сумрак, но вершины деревьев ещё облиты красными лучами. Уставшая за лето земля дремлет, готовая уснуть белым сном зимы. И всё ниже опускается над нею синий полог неба, чисто вымытый осенними дождями.

Толкнув меня, Кузин говорит, улыбаясь:

- Вдруг бы явился он в сей тишине и кротости небес, на минутку бы, на одну!

- Бог? - спросил Егор.

- Вот! Бог господь! И сказал бы...

- Потерял начальство, Пётр Васильич! - дурит Алексей, похлопывая старика по плечу.

- Нет, ты погоди, не глумись! - оживлённо заговорил Кузин, привстав и грозя Алексею длинным пальцем. - Я, ты знаешь, согласен, что об этом тайном предмете можно рассуждать-то всяко, а ведь о том, чего нету, и сказать нечего. Значит - есть что-то! Что же? Надо знать!

Его глазки сыплют искры, голос стал умильным, старичок собирается сказать что-то острое и двоямысленное.

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- В долгой жизни моей наткнулся я на разных людей-то, и вот - в Галицком уезде это случилось - один странник... Многие богохульства услышал я от него, и одно особенно ушибло меня. Говорит он: "Миром правит сатана! Бог же господь низринут с небес и лишён бессмертия и распят бысть под именем Иисуса Христа. И не черти, говорит, были изгнаны с небес господом, а люди из рая дьяволом, вкупе с господом, он же, земли коснувшись, умре! Извергнув нас, людей, яко верных слуг бога нашего, внушил сатана каждому разное и разностью мнений человеческих ныне укрепляет трон жестокости своей".

Он оглянул нас всех поочерёдно и поучительно добавляет:

- Вот какие еретицкие мнения-то возможны даже!

У Егора лицо такое, как будто он стал ровесником Кузину. Медленно и сердито звучат его слова:

- Когда все головы научатся думать, тогда и ошибки все обнаружатся. А сказки - бросить, они не пугают!

Старик сомнительно качает головой.

- Заплутаете вы себя во тьме вещных знаний ваших! - усмехается он. По-моему, бог - слово, миром не договорённое до конца, вам бы и надлежало договорить-то его. Вам!

Лёжа на земле вверх грудью, Алёша ворчит:

- Мы, дедушка, все слова до конца договорим, подожди!

Из увала над холмом явилось что-то тёмное, круглое, помаячило в сумраке и исчезло.

- Кто-то, - говорю, - идёт сюда.

Алексей вскочил на ноги, присмотрелся, вновь лёг пластом и поёт:

Всходит месяц на небо,

Едет милый по полю...

Он всходит справа от нас, месяц. Большой, красноватый и тусклый круг его поднимается над чёрной сетью лесной чащи, как бы цепляясь за сучья, а они гибко поддерживают его, толкая всё выше в небо, к одиноким звёздам.

- Это Семён, кажись! - ворчит Досекин, приложив руку ко лбу. - Ну да! Он и есть! Засиделись мы тут... Пеший он...

- Посидим ещё - может, не заметит? - предложил Кузин.

Алёша хмуро спросил:

- А ты его боишься?

- Зачем! Мы с ним дружки. А вот тебе бы, Егор Петрович, подумать о нём надо...

- Что такое?

- Насчёт Варвары...

- Погодите говорить! - тихо сказал Егор. - А ведь это он за нами следит!

- Конечно, - шепчет Алёша.

В тишине раздаётся угрюмый вопрос:

- Вы, что ли?

- Мы, мы! - торопливо крикнул Кузин.

Стражник подвигается на нас; пеший, он кажется странно широким. И ружья нет при нём, только сабля.

- Слышали, - гудит он, - в Фокине лавочник зарезан?
- Который? - спросил Досекин.
- Хохол. Галайда Мирон.
- А кто зарезал?
- Не узнаю ещё.

Согнув колена, Семён валится на землю рядом с нами и глухо ворчит:

- Дня нет неокровавленного!.. Проливается этой человеческой крови - без меры! Мирон лежит в снях, а кровь даже на двор выбежала и застыла лужей...

Он смотрит на нас, точно видит впервые, и равнодушно спрашивает:

- Может, это ваши режут?
- Какие - наши? - сурово и громко молвил Досекин.
- Такие. Знаю я какие! У кого спички есть? Дайте-ка мне, я забыл.

А когда вспыхнула спичка, он вновь оглядел всех и снова спрашивает:

- Ты чего, Алёшка, зубы скалишь?
- Весело мне, дядя Семён.
- Отчего?
- Вообще! Внутри весело!
- Нашёл время веселью! Тут людей режут везде...
- А кругом - ты гляди...

Стражник быстро оглянулся, беспокойно спрашивая:

- Кто кругом?
- Да никого нет! - удивлённо сказал Алёша. - Я про месяц хотел сказать, про то, какая красота везде...

Тёмный человек поднял голову вверх, посмотрел и угрюмо сказал:

- Он всегда об эту пору, месяц. Ничего весёлого нет в нём! Каин Авеля убил - вот и всё!
- Ты что не на коне? - спросил Кузин.
- Хромает. Коновала надо. Вот ты везде тут ходишь, скажи, чтобы коновала прислали мне.
- Где же это я везде хожу?
- Уж я знаю. Нехорошо про тебя говорят.
- Кто?
- Вообще, народ! Скорняков, Астахов... все!

Кузин не по-старчески задорно смеётся.

Лето. Максим Горький gorki.ucoz.ru

- О хорошем плохо - легко сказать, ты скажи о плохом хорошо!

Вялый, измятый весь, точно с похмелья, стражник лениво и тягуче бубнит:

- Замечают тебя в подозрительных делах.

- А ты этому веришь?

- Астахов - за всеми следит. Его голос услышат...

Кузин встал на ноги, встряхивая полы кафтана, и бойко говорит:

- Его? Его услышат, верно! Громкий старичок, к тому же на василевской колокольне колокол у него висит и звон астаховский, чай, даже до седьмых небес слышен.

- Не шути! Это не к летам тебе. Я обязан службой вперёд Астахова всё знать, а он вот обгоняет меня.

- Плохо твоё дело! - сказал Егор, присматриваясь к нему.

И я вижу, что сегодня грубое лицо стражника как будто обмякло, опухло какой-то тяжёлой задумчивостью. Его тёмные глаза неподвижны, взгляд мутен и туп, а голова необычно беспокойна, точно ей неудобно на толстой, заросшей чёрными волосами шее и она боится упасть на землю.

Тяжело ворочая языком, Семён продолжает:

- Трое тут главных, говорят, - ты, да Досекин, да вот Егор Петров... Да ещё Алешка...

- Выходит четверо! - заметил Алексей.

Егор заботливо спросил:

- Ты что, дядя Семён, с похмелья, али нездоровится?

- А тебе что? - сказал стражник, лениво поднимаясь с земли. - Какое тебе дело до меня?

И, не простясь с нами, пошёл прочь, а мы - домой.

Поглядев вслед ему, Кузин сказал:

- Чего-то неладно с ним...

- Да! - подтвердил Егор. - Хворает он.

- Ну его к чёрту! - воскликнул Алёша, передёрнув плечами. - Это, по-моему, он же сам и зарезал Мирона Галайду, право, он!

- Ври! - сурово остановил его Досекин.

И Кузин упрекнул:

- Да уж! Разве можно такое-то говорить?

Но Алёша стоял на своём:

- Он! А если этого не он, другого кого-нибудь зарежет, вот увидите!

Алексей говорил так уверенно, что мне стало холодно и все замолчали.

Прошло недели две, и наступил один из тех дней, когда события, ручьями сбегаясь отовсюду, образуют как бы водоворот некий, охватывают человека и кружат его в неожиданном хаосе своём до потери разума. В каждой жизни есть такие дни.

В тот день мы с Егором были в Василеве, объясняли мужикам, собравшимся в овине, что такое чёрная сотня и чего она добивается. Возвращались вечером, было темно и

пасмурно, шли по дну Останкина лога, и вдруг сверху из холодного сумрака раздался хриплый крик;

- Эй, Егор Петров! Поди сюда!

- Не ходи! - советует мне Егор, схватив за руку.

- Как же не пойдёшь? - говорю, видя на краю невысокого взгорья голову лошади и тёмное лицо стражника, наклонившееся вниз.

- Иди скорей! - зовёт он. - А ты, Досекин, ступай, куда идёшь!

- Ружьём балует, дьявол! - шепчет мне Егор.

Я полез вверх, цепляясь за кусты, и, когда поравнялся с конём, стражник спросил:

- Тот - ушёл?

- Ушёл.

- Мне надо сказать тебе два слова - одному тебе! Иди! Н-но, бревно!

Тронув коня, он отъехал в сторону, остановился, прислушался к чему-то и, наклоняясь к башке лошади - я стоял у морды её - говорит тихо, вяло, как сквозь сон:

- Беседа - минутная! Видишь - скоро зима. Значит - пора тебе уезжать отсюда. Уезжай, а Варвару мне уступи!

Гладил я шею коня, и рука моя, задрожав, бессильно упала.

- Что ты? В уме? - спрашиваю его. - Разве она овца?

- Отступись от неё! - продолжает он деревянным голосом, и голос этот всё больше пугает меня.

Сухим языком говорю, вздрагивая:

- Подумай, что предлагаешь!

Но он как бы не слышит моих слов.

- Для меня отступись. Прошу!

Действительно - просит, и это очень неприятно мне, странно: он вдвое сильнее меня и с оружием.

- Отступись!

У меня дрожат ноги, я боюсь его, обидно мне, и едва могу сдерживать злобу, схватившую меня за сердце. Громко отвечаю ему:

- Это - нельзя.

Услышал, должно быть. Выпрямился в седле.

- я тебя Христа ради прошу!

Не знаю, что сказать ему. Молчу, держась рукой за седло, а он медленно тянет, точно верёвками скручивая меня бездушными словами:

- Ты подумай. Вот ты - всяко в руке у меня. Опасный человек, и дана мне власть над тобой. Зашибу тебя до смерти, а скажу - сопротивлялся, и ничего не будет.

"Пьяный? - думается мне. - Сходит с ума?"

Но вином пахнет от него слабо, на коне он держится будто хорошо, речь его кажется мне связной. Мне было бы, наверное, легче, если б он сердился, кричал,

ругал меня, но видеть его таким – невыносимо. Говорю:

– Брось, Семён, что это такое?

– Я знаю, что ты ничего не боишься... – бормочет он. – Но это мне всё равно! Решилась, видно, моя дорога, идёт круто под гору. Не желаю! Вот она, Варвара, и нужна мне, – пусть поддержит!

Он свесил голову низко на грудь и набок, точно удавленный. Перебирает в руке повод, его холодные и твёрдые пальцы касаются моей руки – вздрагиваю я от этого, и нестерпимо тошно мне.

Что сказать ему?

– Варвара, – говорю, – сама себе хозяйка. С нею и беседуй иди. А меня оставь!

Покачиваясь в седле и точно засыпая, он тянет:

– Я говорил... три раза... больше. Грозил ей и всё. Она – тоже ничего не боится. Это и хорошо, если не боится. Этого я ищу.

Тут я схватил его за руку, дёрнул, кричу ему:

– Что ты как говоришь? Нездоровится, что ли?

Покачнулся он ко мне, вздрогнул, озирается.

– Сна нет у меня, уж и забыл, когда спал. Хочу спать, а – боязно и не могу уснуть.

– Чего тебе боязно?

– В голове как на мельнице... – снова гудит он, – и язык немеет...

– Чего боишься-то? Поезжай-ка домой!

– Не хочу, ну их всех! Я вчера Кузьму прибил. Он всё говорит – вредные люди. Плачет, старый дурак. Не выйдет насчёт Варвары? Эх... Толкнул я его, он упал, ушибся и опять плачет...

Мне холодно, душно – разговор этот давит меня, подобно ночному кошмару. Взял я коня и тихонько веду его на дорогу.

Семён спрашивает:

– Ты куда?

– Домой. Холодно мне.

– А меня куда?

– И тебе домой надо. Чего больному-то в поле маячить! А может, ты выпил?

– Нет. Вчера был выпивши. Ты брось лошадь – я ещё поезжу, брось! Эх, ничего ты не боишься, никого не слушаешь...

"Да, – думаю я, – не боюсь, чёрт бы тебя взял!"

– Слушай! – говорит он. – Хочешь, я тебе денег дам? Вот со мной шестьдесят два рубля, а?

Режет меня поперёк груди беспомощный голос его.

– На что мне твои деньги?

– За Варвару! – объясняет он. – Я и ещё дам! У меня, брат, есть...

Молчу и веду лошадь, поглядывая на него, – как бы не ударил.

- Оставь лошадь! - просит он.

Я выпустил узду. Слышу над головой его голос:

- Ну, иди! Топор не укусишь! Я шутил ведь. Ты думаешь что? Болен я? Нисколько не болен! Вот поеду на мельницу в шинок, там Дунька, Феклушка...

Он начал говорить похабные слова; мне показалось, что голос его стал крепче, яснее.

- Прощай! Холодно. Водки выпить хорошо теперь... Н-но, корова!

Он ударил лошадь каблуками в бока и рысцой поскакал в темноте. И вдруг остановился где-то близко.

Стою и ожидаю - хватит он из винтовки или нет? Ноги у меня бежать хотят, тянут в сторону, в кусты.

- Пора всё-таки уехать тебе! - доносится его голос. - Слышишь?

Кричит как будто без угрозы.

- Слышу!

Он снова крикнул на лошадь, и копыта её торопливо застучали по звонкой, скованной морозом дороге.

И я, чтобы согреться, побежал бегом. У околицы, около хлебной магази, Егор ждёт меня, продрог. Рассказал я ему всё это - он сурово ворчит:

- Как бы не сделал он чего-нибудь? Вот что - ты иди к Варваре Кирилловне, спроси её, в чём дело, а я - к брату его, к Лядову пойду. Надо ему сказать...

- В ссоре они!

- Ну, какая тут ссора! Эх, бабы! Лишние они в нашем деле!

Совестно мне несколько слышать этот скрытый упрёк.

- Ты, брат, - говорю, - будто историю на сей день забыл.

- Ничего не забыл! Историю делали в городах. Те женщины - я их не трогаю.

Но, подумав, он сказал:

- Нет, запутался я!

Я прошу его:

- Ты потом зайди к Варе, от Лядова-то!

- Ладно!

И вдруг - повеселел мой тёзка, толкнул меня плечом, усмехаясь, спрашивает:

- Так и говорит он - могу убить?

- Так и сказал.

- Ах, дьявол, а? Что же ты, струхнул?

- Не без этого, брат!

- Тут испугаешься!

Он снова коснулся меня широким плечом и тихо говорит:

- А хорошо ты сделал, что позвал меня к Варваре-то!
- Что ж тут хорошего? - удивлённо спрашиваю я.
- Молчи, знай!

Мы прошли деревню насквозь, изба Лядова осталась позади, Егор быстро повернулся и пропал во тьме.

У меня на душе было беспокойно и тяжело; не люблю показываться людям в таком виде - поэтому я миновал призывный огонёк в окне Вариной избы и снова вышел в поле, к мельницам. Было темно, как в печной трубе, деревня, придавленная тяжёлой сыростью, вся в землю ушла, только мельницы, размахнувшись мёртвыми крыльями, словно собрались лететь, но бессильны оторваться от холма, связанные холодом и ночью. Сеяло мелкой, сухой изморозью, гулял, резко встряхиваясь, острый, злой ветер, разгоняя в темноте тихий шорох и жуткие шумы. Где-то плачевно скрипела верёва, хлопал ставень, немотно мычала озябшая скотина. Катался по дороге клок соломы и жалобно шуршал, не находя места, куда приткнуться на ночь.

Думалось о людях, было жалко их. Вспоминались умные намёки Кузина:

"Укрепляет сатана трон жестокости своей разностью мнений человеческих..."

Тревожно билась в душе какая-то неясная, безлика мысль о Досекине и Варе, хотелось бы видеть их вместе и в счастье, радости. Было жалко себя... И чёрной глыбой стоял в памяти стражник, гудел его неживой голос.

Торопливые, знакомые шаги в тишине - Егор идёт. Пошёл и я встречу ему.

- Эй!
- Это ты?
- Я!
- Разве она не дома? Огонь у неё в окне.
- я тебя ждал! Ну, что Лядов?
- Что Лядов! Мямлит - он, дескать, давно такой, а я ему не начальство. Ну их к чёрту, коли так!

Варвару мы застали сильно расстроенной, по глазам было видно, что она много плакала. Отперла нам дверь нехотя и сердито спрашивает:

- Что это вы когда?
- Теперь, Варвара Кирилловна, - говорит Егор, садясь, - не больше восьми часов.
- Мы, - говорю, - по делу.

Волосы у неё растрёпаны, и вся она как-то опустилась, двигается быстро, резко, обиженные глаза сурово горят, и губы крепко сжаты.

- Книжки надо убрать от меня, а то пропадут, - сухо извещает она, не глядя на нас.
- Что так? - спокойно спросил Егор.
- Семён обыском грозит.

И отвернулась к печке, громяхая чем-то на шестке.

- чай пить будете?

Незаметно отирает глаза концом головного платка. Досекин уважительно и ласково просит её:

Лето. Максим Горький gorki.ucoz.ru

- Чаю мы выпили бы и голодны оба, как зимние звери, только это после, а теперь ты нам расскажи, что тут Семён натворил?

Мечется она, схватила самовар, наклонилась над ним, скрывая своё лицо.

- перевели бы вы меня в город скорее, а то - нет больше терпенья моего, и беда может случиться! Откуда знаете, что был он сегодня?

- Ты сказала! - усмехнулся Егор, потирая колена руками.

Тогда я передал ей встречу со стражником и его безумные слова. Повеселела моя подруга, взяла шитьё в руки, села к столу и рассказывает светлым голосом, посмеиваясь, смущаясь и сердясь:

- Совсем он мне покоя не даёт! Терпела я, терпела, молчала, больше не могу, а то грех будет! Всё чаще он приходит, влезет, растопырится с ружьями и саблями своими и воет, и лает, и ворчит... страшный, чёрный, дерзкий...

Тёзка мой смотрит на меня круглыми глазами и тихонько посапывает носом - признак, что сердится.

- Напрасно ты не говорила про это мне! - упрекаю я её.

Она с досадой отвечает:

- Полно-ка! Он ткнет тебя - вот тебе гроб да погост, и больше ничего. Он хоть и полоумный, а власть свою чувствует!

- Разве полоумный? - спросил Егор. - А конечно!

Её передёрнуло дрожью, и, закрыв глаза, она стонет:

- Совсем он лишённый ума, ей-богу! Говорит: слушай, я тебе расскажу одно дело, а ты мне клятву дай, что никому не расскажешь про него. Я говорю - не сказывай, Христа ради, прошу тебя, не хочу! Некому, говорит, больше, а должен рассказать, - и снова требует клятву. Ругает меня, рожа-то у него станет серая, глазищи - как у мёртвого, тусклые, и говорит - чего понять нельзя!

Тихонько и настойчиво Егор спросил:

- О чём всё-таки он говорит?

- Не понимаю ничего! - восклицает Варя, отбрасывая шитьё и убегая к печи, где вскипел самовар. - Всё у него не собрано в голове, всё разрознено. Вас он ненавистью ненавидит и боится, Кузина ругает: старый дьявол, богоотступник он, дескать, всю душу мне перевернул, жизни лишил, колдун он, крамольник! Он всё знает: и про сходки по деревням, и что у лесника беглый сын воротился - всё сегодня сказал!

- Так! - спокойно молвил Егор.

- Полает, полает и начнёт жалостно выть: отступись, дескать, от них, пусть они люди скромные и серьёзные, но это самые страшные люди, они, говорит, принадлежат тайному фармазонскому закону, смерти не боятся, по всей земле у них товарищи и поддержка, хотя они все государства в одно собрать и чтобы никогда не было войны...

- Слышал звон! - сказал Егор, весело усмехаясь.

- Вот всё так! - удивлённо говорит Варя, гремя посудой, - ругает, ругает он вас, потом смеётся - они, говорит, глупые, ничего не будет по-ихнему, до той поры все умрут, перебьют друг друга и умрут! И опять за своё - вот я тебе, говорит, расскажу это дело, а ты побойсь, что будешь молчать. Я кричу - да отженись ты, нечистый дух, не хочу я слушать тебя! Помолчит минуту, спустя голову, и спрашивает: разве и ты ничего не боишься? У меня, говорит, деньги есть, хочешь - дам тебе денег? Ступай ты, говорю, на мельницу, там деньги берут, а меня оставь Христа ради!

Лицо у неё горячо горит, голос обиженно вздрагивает и руки трясутся.

- Что я далась ему? Мало ли других баб на селе? А он этакой рослый, здоровый, согнётся и бормочет, махая рукой: "коли страха нету больше - всё кончено! Всё рухнет, всё нарушено! Мир, говорит, только страхом и держался!" И опять ко мне лезет, за груди хватает, щиплет, просит лечь с ним - мне просто хоть нож в руку брать!

Она всхлипывает, наклоняя голову. Лицо Егора окаменело, скулы торчат, он вытянул руки, сжал все десять пальцев в один кулак и пристально смотрит на него. А я словно угорел, скамейка подо мной колышется, стены ходят вверх и вниз, и в глазах зелено.

Варя говорит тихо, сквозь слёзы:

- Уйду я в город! Измучил он меня, не могу больше терпеть и молчать! Не хотелось мне говорить обо всём этом - зачем, думаю, буду я беспокоить людей бабьими делами... А сегодня так он меня истерзал, что я уж едва стою, силы нисколько нет, и думаю - мать божия, помоги! Вот сейчас схватит, вот опоганит, окаянный!

Тихонько покашливая, Егор спросил:

- А клятву-то дала ты ему? Рассказал он тебе, что хотел?

- Ой, ну его, я и слушать не стала бы! Уши заткнула бы себе! Начинал он что-то про какую-то женщину... Чудится ему что-то, мертвецы синие, мёртвые женщины. Одна, говорит, ходит ночью голая вся, глаза у неё закрыты, а руки вытянуты вперёд. А потом начинает такое говорить - ну его! Охальник он и буеслов! - угрюмо и гадливо проговорила она. - Не могу я передать его слова...

- Ты, Варвара Кирилловна, - внушительно сказал Егор, вставая из-за стола, - дома сегодня не ночуй. А завтра, - обратился он ко мне, - в город её! Ну, я пойду.

Он подал руку Варе и, заглянув ей в глаза, посоветовал:

- Собирайся-ка скорее! А он - это верно - полоумный, и пора бы ему шею свернуть. Ну, тёзка, я иду.

Мне хочется остаться в тёплой и чистой горнице подруги, и она, я вижу, хочет этого, - усталые глаза её смотрят на меня так ласково с измученного лица. Но меня тянет за Досекиным - он тревожит мне сердце: лицо у него необычно благодушное, двигается он как-то особенно валко и лениво, как бы играючи своей силою, хвастаясь ею перед кем-то. И сухо посапывает - значит, сердце у него схвачено гневом. Встал я.

- До свиданья, Варя!

Она неохотно сует руку, а глазами говорит - не уходи.

- Ты куда же это? - спросил Егор, надевая шапку.

- С тобой.

- Я один дорогу знаю!

Смотрит мне прямо в глаза взглядом, нелюбимым мною и неприятным, и я чувствую, что не ошибся - он что-то надумал.

- Ты бы не пускала его, - будто шутя говорит он Варе. - Что он оставляет тебя по целым неделям одну? Разве так делают хорошие любовники?

- Слышишь? - молвила она, ласково положив руку на плечо мне.

- Скажи, Егор, что ты затеял? - прошу я его. - Может быть, я и не пойду с тобой...

Все трое смотрим друг на друга и молчим, и все сразу догадались, что поняли друг друга.

- Подь-ка ты к чёрту! - сказал Егор, шагая к дверям, но я схватил его за руку.
- Нет, так нельзя!

А Варя, побледнев, шепчет:

- Что ты, что ты! Из-за этакого-то человека себя губить?

И, толкая меня к двери, торопливо говорит:

- Иди с ним! Не пускай его одного-то! Иди!

Я не мог удержать товарища, он вытянул меня за дверь. Минуты две-три мы шагали по улице молча.

- Не стучи каблуками-то! - сердито ворчит Егор. - Сторожа тут где-нибудь. Шёл бы домой!

- Не пойду.
- А куда ты?
- С тобой.

И снова идём молча. Я слушаю, не застучат ли в темноте копыта коня.

- Ты что думаешь? - угрюмо шепчет Егор.
- Ничего.
- Я пойду на мельницу, он там.
- Что делать?
- Минута укажет! Сначала я ему скажу: уходи прочь отсюда, ты человек больной, вредный, а не уйдёшь - пеняй сам на себя.
- Тут он тебя и ахнет!
- Увидим!

Разум говорит мне - спорь, а сердце - не надо. Я молчу.

Очутились мы за околицей, у магази. Над нами ветер бойко гонит тёмное стадо туч, вокруг нас маячит и шуршит сухой от мороза ивняк, и всё торопливо плывёт встречу зимнему отдыху. Егор тихонько свистит сквозь зубы, и ветер разносит во тьме этот тихий, топкий звук. Холодно. Жутко. Издали доносится чуть слышный шум...

- Будто скачут? - смятённо говорю я и вздрагиваю от холода или страха.
- Ветер! - отвечает Егор, прислушавшись. - А Гнедому не сдобровать заберут его!
- раздумчиво продолжает он, шагая широко и твёрдо. - Отец мой вчера пришёл из волости - говорит: Астахов жалобу подал на солдата, и суду и в город какую-то бумагу послал. Писарь бумагу эту составлял ему. Стой-ка! Чу...

Шум ближе, и ясно - скачут на лошади.

- Это не он, - говорю я.
- А кому ещё быть?
- У него конь тяжёлый.

Во тьме запрыгало большое серое пятно, и завыл вздрагивающий, страшно громкий голос:

- Наро-од... сбива-ай... Скорей! Убийство-о случилось!

Мы бросились вперёд к верховому.

- Это с мельницы Корней-работник! - говорит на бегу Егор. - Стой! Где убийство?

Верховой, прыгая на лошади, не может остановить её, она мечется из стороны в сторону, угрожая опрокинуть нас, и ломает, разрывает речь человека.

- На мельнице, милые! Стой же! Стражник там Авдотью-солдатку... Это ты, Досекин? Дома отец-то твой? Да стой!.. Сбивайте скорее народ, а то он там всех...

- Скачи в деревню, а мы туда!

Егор быстро зашагал вперёд, схватив меня за руку и вскрикивая:

- А-ах ты... как сошлось! Говорил я Лядову... Сволочи!

Сзади нас несётся жуткий вой:

- Вста-ава-эй!

Задыхаясь, бежим. Ветер толкает нас в спины, осыпая нас тревожным криком, залихватным лаем собак и глухим гулом чугунного била. Проснулась деревня, но кажется, что она боязливо отходит в сторону, удаляется от мельницы.

Досекин наклонился вперёд, стелется по дороге, как лиса, и ворчит, задыхаясь:

- Трое мужиков там, три бабы - как они допустили!

- Оружие у него!

- Трусы всё!

Пошли тише, ветер подкатывается под ноги, торопит.

Нас догоняют верховые, скачут они во тьме и для храбрости режут разными голосами, стараются спугнуть ночные страхи. Чёрные кусты по бокам дороги тоже к мельнице клонятся, словно сорвались с корней и лени над землей; над ними тесной толпой несутся тучи. Вся ночь встрепенулась, как огромная птица, и, широко и пугливо махая крыльями, будит окрест всё живое, обнимает, влечёт с собою туда, где безумный человек нарушил жизнь.

- Кто идёт?! - неистово орут сзади. Выровнялся из тьмы Мозжухин, болтает ногами и, наезжая на нас конём, кричит:

- Начальство-то наше, а? Обложили нас этими стражниками - ах, ты, господи!

- Поздно ты сообразил, дядя Василий! - сказал Досекин.

- Заскакал я вперёд всех, - сокрушённо говорит верховой, - а что могу один-то? Приеду, а он в меня - пулю!

И, оборотясь назад, заунывно ревет:

- Поспеша-ай!

До мельницы всего версты две места, а мы будто верст десять отмерили. В голове смутно, в горле саднит, глаза и уши необычно чутки, всё вокруг задевает меня, ложится на память и сердце царапинами. И всё - как сон.

Плывёт вокруг тьма, гонимая ветром, мелькают чёрные деревья, тревожно встряхивая ветвями, и промёрзлая грязь под ногами кажется зыбкой, текучей.

- Огня там нет! - говорит Егор.

Мозжухин дёргает за узду, задирая голову лошади кверху, она топчется на месте, фыркает, а всадник вытягивается вперёд и громко шепчет:

- Смотрите - бежит кто-то, ей-богу, право! Ах ты, господи, - бежит ведь!

Раздаётся его отчаянный крик:

- Наро-од-жа! Скорее-эй! Сюда-а!

В темноте пред нами мечется маленький кусочек чего-то живого, окрылённый чем-то белым... вот он подпрыгнул с земли и вдруг неподвижно остановился, прилип к ней.

Когда мы подбежали, это оказалась сирота феклуша, бывшая работница Скорнякова, а ныне подруга убитой Авдотьи по службе в тайном шинке. Полуголая, в одной белой юбке и рубахе, она, лёжа на земле, бьётся, стучит зубами и ничего не может сказать. Подняли её на ноги, ведём обратно, и тут она безумно закричала:

- Куда вы меня, милые, куда?

- Где стражник-то? - спрашиваем.

- Убился... убился из ружья! Ползает по полу, а кровь так и льётся, так и льётся... Пустите вы меня...

Егор накинул на неё свой кафтан и пропал во тьме, словно камень в омуте.

Настигли нас ещё трое верховых, двое с кольями, а Лядов даже с ружьём. Узнав, в чём дело, они храбро заговорили:

- Дошёл, тёмный дьявол!

- Туда ему и дорога, псу!

- Это вот тайные шинки эти губят людей! - грозно кричит Лядов, размахивая ружьём.

А Мозжухин грустно говорит:

- Начнётся теперь, братья, великая склока нам; эх - житьё!

Все четверо быстро погнались вперёд, оставив меня одного с девицей. Обняв за плечи, веду её, выпрашивая, как всё это случилось, она жмётся ко мне, дрожит, пытается рассказать что-то, но, всхлипывая, говорит непонятно. Впереди нас дробно топочут лошади, сзади гудит народ, а земля под ногами словно растаяла и течёт встречу нам, мешая идти. Девушка кашляет, спотыкается, охает и скулит, точно побитый кутёнок.

- Грозный он приехал, спросил вина, пьёт, дёргает за бороду себя и всё молчит, всё молчит! Я с печки гляжу на него через переборку, думаю - царица небесная! Как он меня спросит - что буду делать? Пришла покойница Дуня, он ей - "раздевайся!" Она хоть и озорница была и бесстыжая, а не хочет холодно, говорит. Он кричит... батюшки!

Виденное овладело ею, она начала говорить быстро, захлёбываясь словами и взвизгивая. Догнали нас пешие, заглядывают в лица нам и прислушиваются к страшной сказке, сдерживая свой говор и топот ног.

- Стал он деньги жечь на свече, она говорит - дай мне! Дал! А она ещё просит, на колена села ему, он схватил её за грудь и давит; кричит она господи! - а он её за горло да на стол и опрокинул; тут я испугалась да к хозяину, а он говорит - ну их ко псам! Сказала я хозяйке, да опять сама на печь... гляжу - постеля на пол сброшена, Дуня поперёк её лежит, а он на коленках пред ней, вино наливает и кричит: сожгу всю деревню! Ничего не боюсь, говорит! Дуня расцарапана вся, в крови! Тут пришли Корней с Михайлой и хозяйка - как он на них зыкнет! Зарублю, кричит, все прочь! Я и глаза закрыла, слышу визг, топот, возня, и Семён пуще всех ревет! Тут я опять убежала во двор! Ничего не помня, бегаю по двору, и собаки тоже, а что делать - не знаем! Вбежим в сени, да назад, они испугались, лают обе...

В темноте мне плохо видно её маленькое круглое лицо, я чувствую на нём широко

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

открытые глаза, и мне кажется, что они совсем детские и по-детски испуганы. И вся она, все слова её будят надоедную думу:

"Тысячи и тысячи таких, как она, людей, похожих на медные копейки! И тратятся они без жалости всяким и на всё..."

- Тут Михайла вышел, стонет, шатается. Зарубил он меня, говорит. С него кровь течёт с головы, сняла кофту с себя, обернула голову ему, вдруг как ухнет! Он говорит- погляди-ка, ступай! Страшно мне, взяла фонарь, иду, вошла в сени, слышу - хрипит! Заглянула в дверь - а он ползёт по полу в передний угол, большой такой. Я как брошу фонарь да бежать, да бежать...

Кто-то сзади меня сердито сказал:

- Разве можно фонарь с огнём бросать, дура! Ведь он с огнём!

Неожиданно и высоко поднялась из тьмы стена амбара, все остановились перед нею, глухо и осторожно переговариваясь.

- Тихо!

- Не слышать людей-то!

- Айда!

Никто не тронулся. Были слышны вздохи, сопенье и холодный, внятный звон воды на плотине.

- Господи! - шепчет Феклуша, держа меня за руку. - Как я теперь пойду туда?

Отстранив её, я шагнул вперёд, и все гуськом потянулись за мной, а девушка тихонько завыла:

- Дяденьки! Да не бросайте вы меня одну-то!

- Тиш-ша! - зашипело на неё несколько голосов сразу.

На дворе стоят, понурясь, лошади наших верховых, а людей - ни одного. И только войдя в сени, увидел я их: прижались все пятеро к стене в сенях; на пороге открытой в избу двери стоит фонарь, освещая слабым, дрожащим огнём голое человеческое тело.

- Что? - спрашиваю Егора.

- Помер!

Приподняв фонарь, он осветил горницу: стражник лежал в переднем углу под столом, так что видны были только его голые, длинно вытянутые ноги, чёрные от волос; они таяко упирались согнутыми пальцами в мокрый, тёмный пол, будто царапая его, а большие круглые пятки разошлись странно далеко врозь. Авдотья лежала у самого порога, тоже вверх спиной, подогнув под себя руки; свет фонаря скользил по её жёлтому, как масло, телу, и казалось, что оно ещё дышит, живёт.

- А как Михайла? - спросил я.

- Ничего! - ответил Егор. - Он говорит, что сам разбился, когда побежал от стражника. Упал с крыльца.

Из угла сеней раздаётся голос Лядова:

- Врёт! Пачпорта у него нет!

А Мозжухин гнусаво скорбит на ухо мне:

- Эка женщина дородная, а? И ведь умница была, работяга, а вот загуляла, закружилась!

- Это вы её довели! - резко сказал Егор, покуривая.

- Полно, племяш! Мы! А нас как судьба ставит!

- Ещё вверх ногами стоять будете...

Смешливый мужик Никон Ермаков согласился с Егором:

- Будем, Егорша! Нам – долго ли? Мы завсегда вниз головой живём фокусники!

Лядов грозно оговаривает:

- Нашли место шуткам! При упокойниках-то! Лучше бы хозяев-то поискали, – чай, не сдохли они со страха!

- Это – дело старосты!

- А коли ты хочешь – ищи!

- Мне что? Я не начальство!

- Ну, так молчи!

- Так-таки и молчать?

Начинается обычная канитель: собрались в тесном месте издавна очертевшие друг другу люди, привыкли они в этот час спать, а теперь стоят здесь и знают, что завтра придет начальство, начнётся неизбежная ругань, суматоха, знают они это, тупо сердятся все – на каждого, каждый – на всех.

Время от времени являются новые зрители, толкают друг друга, шипят, охают и вытягивают шеи, заглядывая в горницу. То и дело фонарь поднимается кверху, из темноты выплывают серые пятки стражника, пышные плечи Авдотьи, ружьё среди пола, опрокинутая лампа и чёрные пятна крови.

Ползёт, змеится пугливый шёпот:

- Кровищи-то!

- Мужик был ражий!

- Пил, ел сытно!

- Бабочку жа-аль!

- Н-да, хороша была забавушка!

- Вы бы лучше прикрыли её, черти!

- Ничего! Она и живая наготы не боялась!

- А вот стражнику – черти рады!

- Что ж он? Бывают много хуже!

- Ещё бы! Вон в Фокине...

- Михайле-работнику голову порубил!

- Его бы задержать надо, Михайлу-то этого! Эй, староста! Работник тут, Михайла, – мне известно, что пачпорта нету у него, слышишь?

Досекин, отец Егора, высокий, сутулый и смирный, озабоченно и тихо отвечает:

- Задержим! Сотские – человек тут, слышь...

- Михайла!

- Шадрывый!

- Поищите-ка его!

- Вот! - довольным голосом говорит Лядов. - А то ходят, стоят, а никто ничего не делает.

- Айда домой! - тихо зовёт меня Егор.

На дворе Скорняков жирным своим голосом матерно ругает арендатора мельницы; лошади слушают ругань и прядают ушами, переступая с ноги на ногу. Коренастый, курчавый арендатор, встряхивая головой, спокойно оправдывается:

- Что шинок я держал - это известно всем и тебе известно - ты за это аренду мне набавил на сотню рублей выше...

- Я? Набавил! - кричит Скорняков, топая ногами.

У ворот стоит сотский и, ковыряя палкою землю, спрашивает всех, кто проходит мимо него:

- Михайлу-работника не видели случаем?

- Чёрта два, найдёте вы этого Михайлу! - бормочет Егор, усмехаясь. Понимаешь, какая история? Прибежал я сюда, взглянул на всё это, стало так тошно, так горестно на сердце. Вышел я на двор - чу... кто-то стонет! Подошёл - стоит у телеги человек, голова обмотана тряпкой, - Михайла! Я с ним раза два-три беседовал раньше, и всегда казалось мне, что человек он не без разума. "Ну, говорит, Досекин, вот я и пропал, ведь я, говорит, брат, беглый, из солдат сбежал, паспорта у меня нет!" И ума немного тоже, говорю! Направил его к Чёрному перелеску, сидит, наверное, там и ждёт нас. Отведу его к леснику, а потом уж припрячем.

Смотрю я на него - у человека даже и волосы не растрепались, а я до смерти устал, в голове у меня туман, сердце бьётся нехорошо, и тошнит меня от жирного запаха человеческой крови.

- А простудилась, наверное, девушка та! - раздумчиво говорит он, свёртывая папиросу. - Босая бегла! Жалко мне её - какая-то бескрылая пичужка из разорённого гнезда!

- Как ты всё это успеваешь заметить, запомнить? - искренно удивляясь, спрашиваю я.

Он молчит, чётко отбивая шаг.

Уже светало - на деревьях был виден сероватый, тонкий иней, на лице Егора - тонкая усмешка.

- Видишь ли что, - говорит он, опуская голову, - я ведь людей-то люблю, честное слово! Я будто суров и всё такое, а - мне всех жалко! Вот теперь возьмём этот случай: оба они такие могучие, здоровые, телом крепкие - разве не жалко? Вдохни в эти тела новую душу, сколько они могли бы работы сделать над жизнью! И подумай: вор - здоров, конокрад - здоров, стражник, гулящая женщина и весь этот противообщественный, так сказать, народ здоровяки больше. А общественники - рядовой мужик, рядовая баба, землеробы наши смиренные - всё больше мозглявенькие, хворенькие, изработались, забыты нуждой и голоса никогда не поднимут за себя - верно?

- Почти всегда так! - соглашаюсь я.

- Да! И в нашем деле... которые парни и мужики посильнее - тянут к нам, а выродков между нами не видать. Это, брат, значит, что пришёл деревне конец! Сильному в ней - тесно, слабому - невместно! Настало время разорваться деревне надвое, и никакими канатами, ни цепями не скрепить её теперь! Нет, конечно!

Он негромко смеётся. Утренний мороз нащипал ему лицо докрасна, и глаза у парня ясно горят. Слева от нас из кустов выглянул человек.

- Вот он! - сказал Егор и тихо крикнул: - Эй!

Человек тускло отозвался.

- У тебя рубаха чистая? - спросил тёзка. - Ты сними-ка её, ему надо голову-то перевязать.

Когда мы подошли к раненому, он сидел, охватя голову руками, и, сцепив зубы, тихо ныл:

- У-у-у, головушка моя!

Я снял рубаху, прохваченный холодом, немного оклемался от усталости и обрадовался, а то совестно было перед Егором за неё.

- Кость цела? - спрашивал Егор, осторожно снимая с головы раненого кровавую тряпицу.

- На ощупь - будто цела! Но только и болит голова! Вот болит!

Стоя на коленях, он подпирал скулы ладонями и держал голову, как чашку, до краёв наполненную.

- Я ему норовил в живот головой-то, а он отскочил, видно, да и секанул, дьявол!

- Застрелился он - знаешь?

- Знаю! До смерти?

- Да!

- Ну - и хорошо! Что только с бабами выделявал он там - ай-яй! Словно и не человек это! Ты куда меня хочешь прятать?

Собирая покрытые инеем листья, Егор говорит:

- Я тебя только отведу, а спрячет другой. Вот лицо надо бы тебе вытереть.

Густо окрашенное запёкшейся кровью лицо Михайлы точно из железа: кровь застыла на нём ржавыми корками, рыжей маской.

Уже светло; видно, что и одежда пораненного замёрзла, топырится и хрустит при его осторожных движениях. Егор оттирает ему щёки сырыми листьями, больной трясётся весь, стучит зубами и тихонько бормочет:

- Спаси вас Христос, братья! А ежели попаду я начальству - оно меня запе-ечёт! Вы почему же такие добрые к людям-то?

Из голубых глаз больного медленно текут мутные слёзы.

Мне становится неловко от вопроса его, и Егор тоже смущённо смеётся.

- Ты иди, тёзка, - говорит он, - светло и всё такое, народ сейчас явится - иди!

- У-ух! - стонет раненый, покачивая головой, похожей па растрёпанный кочан капусты, а тёзка, посвистывая, старается - чистит ему лицо, как самовар.

Без дум, со смутной и тяжёлой грустью в сердце иду по дороге - предо мною в пасмурном небе тихо развёртывается серое, холодное утро. Всё вокруг устало за ночь, растрепалось, побледнело, зелёные ковры озимей покрыты пухом инея, деревья протягивают друг к другу голые сучья, они не достигают один другого и печально дрожат. Снега просит раздетая, озябшая земля, просит пышного белого покрова себе. Сошлись над нею тучи, цвета пепла и золы, и стоят неподвижно, томя её.

Подошёл я к деревне - над плетнём Варина огорода вижу её бледное лицо, ждёт, бедняга, и, должно быть, всю ночь не спала.

- Уснёшь с этим! - передёргивая плечами, говорит она и ведёт меня за собой. -

Иди скорей! Гляди-ка, как загваздался весь кровью-то! А рубаха где?

Слёзы у неё на глазах, а рука холодная, как лёд. Подавая мне воды, тихо спрашивает:

- Кто его застрелил?
- Сам.
- Ей-богу?
- Полно, Варя! - строго говорю ей.
- Ах, господи! Разве тут поймёшь? Ведь вы пошли к нему!
- А судьба - опередила!
- А отчего же кровь?
- Погоди, всё расскажу.
- Умерла дуня-то?
- Конечно!

Села она на лавку и тихо плачет, говоря:

- Кабы мы знали до рожденья, что нас ждёт, - молились бы слёзно: матушка богородица, не роди ты нас бабами! Ведь какая она милая была, дуня-то, какая весёлая да умная! Заели вы её, мужичишки, дьяволы! Ограбили, обобрали - вот с чего начала она пить да гулять! А всё из-за проклятой вашей войны! Погодите, черти неумные, когда бабы возьмутся за ум - они вам покажут, как войны эти затевать!

Мне и смешно и совестно слушать сердитые речи ученицы и подруги моей; сидя рядом с нею, глажу молча её руку, а она, не глядя на меня, жалуется:

- Всю ночь места себе не могла найти, так боялась! У-у! Бить бы тебя!

И вдруг, порывисто обняв, шепчет, улыбаясь сквозь слёзы:

- Блаженный ты мой...

Это у неё выходит вроде дурачка, - ну что же...

Жмусь я к ней, точно малый ребёнок к матери, на душе становится спокойно и легко, чёрные дела ночи тают в памяти моей.

Положила она голову мою на колени себе, гладит щеку мне тёплой рукой.

- Рассказывай! Где Егор, дома?

Неожиданно для себя я спрашиваю её:

- Любишь ты его?

Она тихо и горячо отвечает:

- А как же! Конечно, люблю! Да ты говори же!

Я начал, но, сказав слов с десятков, вдруг, не помню как - заснул.

Разбудил меня Алексей, ушедший с Кузиным в город. Стоит он надо мной, дёргая меня за руку и сердясь.

- А ты скорее! Понял?

Оглядываюсь - он нахмурен и строг. Варя стоит среди горницы одетая.

- Да очнись ты! - жалобно просит она. - Слышишь - Кузина заарестовали!

Это сразу поставило меня на ноги.

Оказалось - разговорчивый старик засиделся у знакомой нам учительницы, балагурия с нею и братом её, а ночью явилась полиция, арестовала брата и сестру да, кстати, забрала и Кузина.

- Нашли у них что-нибудь? - спрашиваю.

- Кто ж это знает? - тихо ответил Алёша. - Жандармы из губернии приехали! Ты иди, Варвара Кирилловна, зови скорее Егора-то!

Уходя, она ворчит:

- Покажет вам себя Кузин этот!

А я хожу по комнате и не могу явить себе Петра Васильева, как он, прихрамывая, зашагает с полицейскими в тюрьму.

Алёша сидит на печи и, болтая ногами, скучновато рассказывает:

- Я тоже там был у них, обедал и потом долго сидел, ладно, что вовремя ушёл. Он там с Фёдором и Лидией насчёт бога, конечно, сцепился - интересно говорил, я тебе скажу!

И, наклонясь ко мне, оживлённо продолжает:

- Помогите, говорит, богу! Что это значит? Он же всесилен? Воистину так, - а вы есть рассеянные крупичи и части силы его необъятной и, соединяясь, - увеличиваете мощь его, разъединяясь, - уменьшаете. Доказывает по-славянски... жаль, не понимаю я этого языка!

Меня арест Кузина не беспокоит. Не думая о том, как он будет держать себя перед начальством, я верю - не велик это вред, коли с большой лесной рубки кто-то украдёт лесину или пять.

- Мы с Филиппом заранее узнали про обыск, да всё-таки поздно! Я сижу у него, читаю, вдруг он прибежал - сейчас, говорит, встретился мне помощник исправника и сказал, что торопится на обыск. Я побежал было к Сусловым, но у ворот их полиция стоит, - прошёл мимо. Как ты думаешь - что теперь будет?

- Не знаю! - говорю. - Почему-то чувствую, что всё это боком пройдёт.

- Лишнего он не скажет! - уверенно молвил Алёша. - Филипп, зная его меньше меня, иначе думает: он махнул в губернию, а в лавочке остался этот новый, из города, сумрачный человек. Он - чистый, а в лавке ничего нет лишнего, только бумага одна, да о ней не догадаются, наверно. Они уж и товар разложили, книжки, детские игрушки, на окнах картонки висят с ручками, карандашами. И вывеска готова: "Книжная и писчебумажная торговля Горчакова", а Филипп с бородой своею - совсем купец! Он в городе со всеми знаком - смешно видеть...

- Всё пройдёт мимо! - говорю я, ибо ощущаю уверенность в этом и она растёт.

Пришёл Егор; кафтан у него, несмотря на холод, внакидку, рубаха не опоясана, рукава засучены. Хмуро оглянул нас круглыми глазами и спрашивает:

- Ну?

Слушая рассказ Алёши, он свистит тихонько, барабанит пальцами по столу и, не мигая, смотрит на меня несвойственно ему мягким взглядом.

- Рановато попал старик! - сожалительно говорит он. - И жалко, что один, никого нет с ним наших! Тёзка, ты не думаешь, что арест этот тебя касается?

- Нет.

Лето. Максим Горький gorki.ucoz.ru

- Ты бы всё-таки ушёл из деревни куда-нибудь, а? На всякий случай.

- Надо подумать.

- Подумай! Алёша тоже советует.

Я не выспался, в голове мутно, туманно, думать лень. Алексей уходит сегодня у него чтение; где-нибудь в овине соберутся ребята и просидят до позднего вечера.

Надевая кафтан в рукава, Егор говорит:

- Я тоже иду, мне надо сани чинить. Давеча родитель проповедь мне читал, всё упрекает, что мало я работаю, разоряемся мы, плачется. И мать тоже - в два голоса донимали. Да! Мешают несколько родители нашему брату, надо бы прямо из земли родиться, она умнее отцов-матерей. Так ты, тёзка, подумай, да поскорее - к вечеру надо это решить. Варвару Кирилловну я попросил - пусть она погуляет, послушает, что народ говорит. Отец чего-то намёки мне кидал про Астахова, что он всех может съесть. На мельницу начальство явилось - видимо-невидимо сколько его! Тятка бросился туда, как обожжённый. До свиданья! До вечера!

Он взял меня за руку, пожимает и говорит, спустя голову:

- Чёрт его знает - бьётся у меня в сердце какая-то тревога - с устатку, что ли?

- Ты, - спрашиваю, - Кузину веришь?

- Нарочно зла не сделает, верю! А не нарочно - всякий может.

Он усмехнулся и говорит:

- Скучно ему будет одному! Ваню бы туда посадить для беседы с дядей и отвердения души, а то Ваня очень жалостлив: всё жалуется, что Никина напрасно обидели мы, и утешает его. А Никин той порой - лес возит на избу себе. Ну, до вечера!

Ушёл. Но оставил мне часть своей тревоги.

Над деревней давно уже носятся белые мухи, лениво падая на истоптанную землю, одевают её прозрачной, тонкой пеленой сухого снега. Торопливо проходят взад и вперёд по улице наши серые мужички; голоса звонки, и громок бодрый шаг. Вот плывут празднично одетые женщины, среди них, высоко подняв голову, Варвара - она что-то рассказывает, остановясь посреди улицы, слышу, как мягко бьётся в стекло окна её густой и сильный голос. Осыпанный белыми снежинками, подошёл Милов, спросил о чём-то и, передвинув с боку на бок шапку, потупившись, плетётся дальше.

Надо бы Варю домой звать, да неловко мне постучать в стекло.

Проскакал верховой, взмахивая локтями, словно курица крыльём, бабы закричали вслед ему и спешно разбежались, а Варя осталась одна, как берёза в поле, и, поглядев вдоль улицы из-под руки, идёт к воротам.

Вот она на пороге, розовая и свежая, снимает кофту и говорит:

- Насмотрелась, наслушалась, все дела разнюхала - ай, батюшки! Как деревня-то вздыбилась! Астахов Скорнякова попрекает шинком - дескать, это разврат. Скорняков божится, что ничего не знал, а Гнедой поливает обоих беда! У сборни крик, шум стоит...

Она двигается, точно рыба в воде, плавно и щеголевато играючи сильным телом, - люблю я смотреть на неё...

- Скорняков боится, уже пустил слух, что этой зимой начнёт сводить лес свой, - хочет задобрить народ, чтобы молчали про шинок-то, - работа, дескать, будет. А Астахов кричит - врёт он, лес у нас с ним общий, не деленый, ещё тяжба будет в суде насчёт границ... Не знают мужики, чью руку держать, а в душе всем смерть хочется, чтобы оба сгинули!

Варя смеётся, закрыв лицо рукой.

- Кирик отличился: говорил за Астахова, Кузьма-де и богу и начальству - любезный человек, умница, грамотник, миру защитник, недаром-де мы его в Думу послать собрались, да вдруг как начнёт матюкать защитника-то! Все глаза вытаращили, а потом - хохочут! Кирик крутит головой, смеясь: "Эко, говорит, как я ошибся! Уж больно он меня окарнал, сукин сын, Кузька-то, забыть нельзя!" Да и начал, и начал грабежи его считать! Народ кричит: "Кирик, где же у тебя правда?" Обозлился он и скажи: "Там же, где и у вас, сволочи!" Да такое место назвал - срамота!

Стыдливо и лукаво присунулась она ко мне, замолчала, а потом тихо и грустно шепчет:

- Знаешь, про тех, что на мельнице лежат, как будто и забыли все, только бабы одни втихомолку вспоминают Дуню... ой, что это?

Быстрый топот в сенях, распахнулась дверь, на пороге встал Досекин и, задыхаясь, шепчет:

- Солдаты приехали, жандармы, тебя, тёзка, спрашивают, схватили Гнедого!

Ёкнуло у меня сердчишко, замерло. Хотел встать на ноги - Варя обняла меня, держит, вижу её милые глаза, бледное лицо, слышу тихий голос:

- Беги скорее в лес!

И Егор повторяет:

- Беги!

Схватил меня за руку, смотрит в лицо мне, тащит к двери.

- Поздно бежать-то! А отсюда скорее уходить надо.

Обнял Варю, поцеловал. Обнял меня тёзка.

- Берегите, - говорю им, - друг друга!

А у самого сердце вдруг взыграло, налилось и тоской и силой. Жарко стало мне.

- Может, ещё успеешь? - шепчет Егор, а Варя, бледная, толкает меня к двери:

- Иди скорее, милый, иди ты!

Выскочил я на двор, пробежал огородом, перескочил плетень, - по тропе в кустах идут двое солдат, увидели:

- Стой!

И оба, взбросив ружья к плечу, прицелились.

- Что вы, - говорю, - с ума сошли?

- Молчать!

И повели раба божия один впереди, другой сзади. Идём задворками, падает снег, белит землю и серую шинель солдат.

Встречу идут ещё солдат и маленький офицерик в башлыке.

- Кто такой? - грозно кричит он.

- Егор Петров Трофимов.

Тогда он командует солдату своему:

- Иди, доложи ротмистру - Трофимов задержан. Слышишь? Трофимов!

Личико у него маленькое, розовое, с чёрными усиками и гордое, как новенький пятиалтынный. Руки в толстых жёлтых перчатках и лакированные сапожки на ногах.

Идём.

- Куда ж вы меня ведёте? - спрашиваю.

- Не ваше дело!

- Верно, - говорю, - но, может быть, вам нужно ко мне на квартиру?

- Конечно!

- Прошли мимо её.

В горнице у меня - жандарм, солдаты и высокий, осанистый жандармский офицер, с острой седой бородкой и большими усами, - концы их висят вниз, кажется, что у него три бороды. Книжки побросаны на пол, всё перерыто.

- Трофимов? - басом спрашивает офицер и добавляет: - Он же - Николай Смирнов, а?

"Эге! - думаю, - какой ты образованный!"

У меня ноют ноги. Дверь в комнату не притворена, мне холодно, тоскливо и обидно среди этих людей. Лгать им - я не могу, я не хуже их.

Соображаю: если они - эти - знают моё настоящее имя, стало быть, Кузин тут ни при чём, а провалился я как-то случайно, что-нибудь напутали брат и сестра Суловы, и это хорошо, что я буду около Кузина завтра же.

Ротмистр кричит, потрясая тремя бородами:

- Я спрашиваю - это ты бывший штабный писарь Т-го резервного батальона Николай Смирнов?

- Трофимов я, Егор Петров.

Кричит грозно:

- Врёшь!

Очень легко сердится оно, начальство.

Маленький офицерик оглядывает меня, раскрыв рот, как голодный вороний птенец, нижние чины смотрят строго и внимательно. Ротмистр пишет. Скрипит перо, царапая меня по сердцу.

На рассвете мы шагали в город - я, Гнедой и пятеро конвойных, а всё остальное начальство поехало куда-то дальше.

Идти трудно. Густо падают хлопья снега, и мы барахтаемся в нём, как мухи в молоке. Сквозь белую муть то справа, то слева тёмными намёками плывут встречу нам кусты, деревья, бугры ещё не засыпанной снегом земли.

Солдаты не выспались, голодны и злы, орут на нас, толкаются прикладами; Гнедой зуб за зуб с ними, и раза два его ударили, больно, должно быть.

Он буйнит: размахивает руками, кричит, плюётся, в рот ему попадает снег.

- Я сам солдат! Солдат должен правду защищать!

- Поговори! - грозно предупреждает его один конвойный, а другой насмешливо спрашивает:

- Какую?

- Такую! Всеобщую правду! А вы - Кузьку богача, мироеда защищаете!

- Дай ему по башке, Ряднов!

Это надо прекратить.

- Земляки, - убеждающе говорю я, - не на то вы сердитесь, на что нужно...

- Разговаривай! - рычит солдат.

- Изволь! С разумными людьми говорить приятно. Сердиться нужно на то, что не дали вам подвод, а заставили шагать пешком...

- Из-за кого? Из-за вас, чертей!

- Не дали ни чаю попить, ни поесть, ни выспаться...

- Это он верно говорит! - отозвался солдат сзади меня.

- У нас всё верно! - гордо заявляет Гнедой.

- Слушай их, они скажут!

Старшой, заглядывая мне в лицо, хмурит брови.

Я продолжаю, уверенно и ласково:

- Всё это можно исправить, земляки! С версту пройдёт - будет на дороге деревня, а в ней - чайная, вот вы зашли бы, да попили чаю, и нам тоже позвольте. А так - ни вам, ни нам с лишком тридцать верст места не одолеть!

Старшой фыркает, стряхивая снег с усов, и мягко говорит:

- Это - можно! Это - ничего, земляк, можно!

И все ему поддакивают:

- Конечно!

- Не худо!

- Близко деревня-то?

- Не пожравши, и блоха не прыгает!

А Гнедой поучает:

- Видите - мы же вас и жалеем!

Старшой был у меня на обыске, мы вместе ночевали, и ночью я с ним немножко поговорил о том, о сём. Он и ещё один рослый солдат, Ряднов, шагающий рядом со мной, спокойнее других, остальные трое, видимо, давно болеют тоской и злостью. Они все худые, костлявые и навсегда усталые, словно крестьянские лошади, у них однообразно стёртые лица и тупые, безнадёжные глаза.

- Водим мы вас, водим, - тихо говорит Ряднов, - конца нет этому маршу!

- Отчего эта история идёт в народе, земляк? - спрашивает старшой, косясь на меня. - Какая тому причина, что никто не имеет покою?

Я начинаю объяснять им историю и причину, они сбиваются в плотную кучу, прижав ко мне Гнедого, их глаза недоверчивы, усы и брови в мутных каплях талого снега, и все они словно плачут тяжёлыми слезами.

- Даже удивительно, до чего нехорошо всё! - слышу я сзади себя тихое, искреннее восклицание, и кто-то горячо дышит в затылок мне.

Я их знаю, солдат: они всё равно как дети - такие же доверчивые и такие же жестокие. Они - как сироты на земле - ото всего оторваны, и своей воли нет у них. Русские люди, значит - запуганные, ни во что не верят, ждут ума от шабра, а

Лето. Максим Горький gorki.ucoz.ru
сами боятся его, коли видят, что умён. А ещё я знаю, что пришла пора, когда всякий человек, кто жить хочет, – должен принять мою святую веру в необоримость соединённых человеческих сил. Поэтому я, не стесняясь, говорю им, что думаю.

– Плохо слышно! – с досадой ворчат назади. – Снег этот в уши набивается!

Гнедой доволен и бурчит:

– То-то вот оно!

Разговариваем всю дорогу до деревни, и, лишь войдя в улицу, наши конвоиры снова погрубели и грозно командуют нами.

Но придя в чайную и дождавшись, когда нам дали чаю и хлеба, они свирепо изгнали хозяев, расстегнулись, встряхнулись и снова, подобрев, смотрят на нас мягко и внимательно слушают мои речи.

Жуют хлеб, глотают чай, чмокают губами, и серые стриженные головы их печально покачиваются.

Ряднов спрашивает:

– А что, там в деревне остались ещё люди вашей веры?

Гнедой, чёрт его возьми, гордо орёт:

– А как же! У нас по всей округе...

Я ударил его ногой под столом, солдаты заметили это и хмуро улыбаются, а один спрашивает, подмигивая:

– Ты что, землячок, язык-то прикусил?

Гнедой, красный весь, пытит, двигая ногою, и всё-таки говорит смущённо:

– Что ж, двое, что ли, нас?

– Стало быть, – широко ухмыляясь, говорит старшой, – вас отведём – за другими пошлют?

Красные распотевшие рожи солдат разно улыбаются, а один из троих насмешливо говорит:

– Занятие!

И злой чей-то голос вторит ему:

– Приказали бы перебить всех сразу – правых, виноватых, – вот и покой!

Пользуясь минутой задумчивости, обнявшей их, спрашиваю Гнедого:

– Оговорил-таки тебя Кузьма-то?

– Не он! – быстро отвечает Гнедой. – Это Мозжухин с Лядовым, Скорняков, главное, и другие ещё там! Что говорили! "Ваши благородия, он это я – не иначе китайцами подкуплен и самый вредный человек на деревне: начальство позорит и нас всех тоже, одни, говорит, китайцы хороши!"

Солдаты подозрительно смотрят на нас, и Ряднов спрашивает:

– А ты откуда знаешь их, китайцев?

– Я-то? – гордо кричит Гнедой. – Она! Да я же на войне на этой был, в плену был, крест имею Егория – вот он, крест-от, он у меня тут...

Торопливо полез в карман штанов, вынул оттуда горсть какого-то мусора и, шевыряя в ней толстым пальцем, сокрушённо бормочет:

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Эх ты, дуй те горой! Крест-от я забыл, ребя! Н-ну, это нехорошо была бы мне всё-таки защита, а я его забыл, а-ах!

- Коли имеешь - это начальству известно! - ободряя его, говорит старшой, потом командует:

- Собирайсь, живо!

Солдаты застёгиваются, берут в руки ружья; они смотрят на Гнедого с любопытством, задумчиво, сожалительно.

Но Гнедой уже оправился; значительно хмурясь, он высоко поднял руку и, кому-то грозя тёмным кривым пальцем, таинственно говорит:

- Я, ребята, людей этих, китайцев, японцев, близко видел - и которые воют, и которые землю пашут... Ну как они землю свою взбадривают!.. боже мой! постеля невесте, а не пашня! Это же настоящий рабочий народ - и зачем ему драться, ежели такая земля, и, конечно, они всё издали больше, вовсе они и не хотят войны, потому сеют они этакое особое просо...

Снова плотным клубком серых тел катимся мы по дороге сквозь зыбкую пелену снежной ткани, идём тесно, наступая друг другу на пятки, толкаясь плечами, и над мягким звуком шагов по толстому слою мокрых хлопьев, над тихим шелестом снега - немолчно, восторженно реет крикливый, захлёбывающийся голос Гнедого.

Спотыкаясь, позванивая штыками, солдаты стараются заглянуть ему в лицо, молча слушая сказку о неведомой им щедрой земле, которая любит работников своих. Снова их красные лица покрыты мутными каплями талого снега, течёт он по щекам их, как тяжкие слёзы обиды, все дышат громко, сопят и, чувствую я, идут всё быстрее, точно сегодня же хотят достичь той сказочной, желанной земли.

И уже нет между нами солдат и арестантов, а просто идут семеро русских людей, и хоть не забываю я, что ведёт эта дорога в тюрьму, но, вспоминая прожитое мною этим счастливым летом и ранее, - хорошо, светло горит моё сердце, и хочется мне кричать во все стороны сквозь снежную тяжёлую муть:

"С праздником, великий русский народ! С воскресением близким, милый!"

1909 г.

ПРИМЕЧАНИЕ

Впервые с большими цензурными сокращениями напечатана в "Сборнике товарищества "Знание" за 1909 год", книга двадцать седьмая, СПб, 1909, с подзаголовком "Повесть". Одновременно полностью напечатано отдельной книгой издательством И.П.Ладыжникова, Берлин (без обозначения года издания).

Над повестью "Лето" М.Горький работал в первой половине 1903 года. Из письма М.М.Коцюбинского к жене от 20 июня (ст.ст.) 1909 года видно, что М.Горький закончил повесть в июне 1909 года и 20 июня читал её на о.Капри своим друзьям и знакомым (Сб. "О. М.Горький і М.М.Коцюбинський. Збірник матеріалів", Київ 1937, стр.53).

М.Горький считал повесть "Лето" одним из набросков к задуманной, но не осуществлённой им повести "Сын". В письме к В.А.Десницкому он сообщал:

"Предполагалось после "Матери" написать "Сын"; у меня были письма Заломова из ссылки, его литературные опыты, знакомства с рабочими обеих партий и с крупнейшими гапоновцами: Петровым, Инковым, Черемохиным, Карелиным, впечатления лондонского съезда, но всего этого оказалось мало. "Лето", "Мордовка", "Романтик", "Сашка" - можно считать набросками к "Сыну"..." (В.Десницкий. М.Горький. Гослитиздат, Л. 1940, стр.263).

Вплоть до Октябрьской революции повесть "Лето" печаталась в России с большими цензурными сокращениями; распространение издания И.П.Ладыжникова было запрещено на основании цензурного доклада от 13 января 1910 года. В докладе говорилось: "В прилагаемом повествовании автор, по своему обыкновению, преподносит читателям свои пересказы на освободительные темы, причём в книжке, конечно, нет недостатка

Лето. Максим Горький gorkiymaxim.ru
в суждениях социалистических, бунтовских и антимилитарных... На стр. 77, 82, 83, 87, 116, 122 автор выражает своё сочувствие революционерству, отрицает законы, даже восхваляет Стеньку Разина и Емельяна Пугачева, духовных праотцев русской революции. Полагал бы, что книжка должна быть запрещена ввиду её совершенно определённого направления..." (Сб. "М.Горький. Материалы и исследования". М.-Л. 1941, т. III, стр.429-430).

Значительные изъятия были сделаны в повести общей и военной цензурой при публикации её в четырнадцатом томе собрания сочинений М.Горького, издание "Жизнь и знание", Петроград 1916.

Повесть включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту хранящейся в Архиве А.М.Горького машинописной копии, подготовленной автором для двадцать седьмой книги "Сборника товарищества "Знание" за 1909 год", с восстановлением всех цензурных изъятий по изданию И.П.Ладыжникова.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!